№ 135. ВТОРНИКЪ 26 Ноября. 26 Listopada. WTOREK № 135.

ВИЛЕНСКІЙ ВѢСТНИКЪ KURYER WILEŃSKI

ВЫХОДИТЪ по Вторникамъ, Четвергамъ и Субботамъ.

Przedpłata: Roczna: W Wilnie. rs. 10; Z przesyłką. — 12. Półroczna: W Wilnie . — 5; Z przesyłką. — 6. Kwartalna: W Wilnie . — 3; Z przesyłką. — 3 k. 50. Miesięczna . — 1. Za wiersz ze 40 liter ogłoszenia płaci się k. sr. 17.

WYCHODZI we Wtorki, Czwartki i Soboty.

Rok 1863.

СОДЕРЖАНІЕ.

Часть Оффиціальная

ВСЕПОДДАННѢЙШІЯ ПИСЬМА.

Отъ жителей м. Вержболова.

Великій ГОСУДАРЬ,

Всемилостивѣйшій МОНАРХЪ!

Грустно намъ слышать, что противъ справедливаго Правительства поднятъ бунтъ безрасудною шляхтою польскою. Отецъ нашъ! спокойствіе края нашего для насъ дорого, для защиты его мы готовы посвятить все, что имѣемъ, даже жизнь нашу. Услышь насъ, какъ вѣрноподданныхъ дѣтей твоихъ, и мы готовы умереть для пользы всего своего края; прикажи, Добродѣтельный МОНАРХЪ, принять насъ подъ крыло Твое. Пріими насъ въ Твою Державу, охрани насъ правами, которыми осчастивленны милліоны народа Твоего, за что, при вѣрноподданствѣ нашемъ, будемъ заносить молитвы къ Наивышнему Богу, чтобы Онъ благословилъ Тебя, Великій ГОСУДАРЬ, Твой домъ и дорогое наше Отечество.

Что съ полною любовью и преданностію повергаемъ къ стопамъ Твоимъ наше сердечное желаніе, въ томъ вѣрноподданные Твоего Величества подписываемся.

(Слѣдуютъ подписи.)

Отъ еврейской общины М. Вилковышекъ Августовской губ. Кальварійскаго уѣзда.

Всесвѣтлѣйшій МОНАРХЪ!

При настоящихъ обстоятельствахъ, когда милліоны Твоихъ вѣрныхъ подданныхъ чувствуютъ себя внутренно-побужденными къ выраженію своей безграничной, чистосердечной вѣрности у подножія Твоего высокаго Трона, здѣшняя израильская община дерзаетъ также присовокупить къ общему гласу подобное выраженіе своихъ чистѣйшихъ вѣрноподданническихъ чувствъ.

Чистосердечная вѣрноподданность и истинная привязанность къ Престолу были всегда ненарушимымъ правиломъ израильтянъ, которое они считали святою заповѣдью своей религіи; тѣмъ болѣе чувствуютъ они себя обязанными къ соблюденію сего правила, находясь подъ крѣпкимъ правленіемъ Нашего Всесвѣтлѣйшаго ГОСУДАРЯ, подъ милостивымъ скипетромъ котораго мы достигли равноправія и безчисленныхъ мудрыхъ реформъ, развитіе которыхъ, къ сожалѣнію, временно пріостановлено, благодаря нарушенію порядка, произведенному врагами Россійскаго Государства.

По этому мы чувствуемъ себя священно-обязанными торжественно выразить предъ Тобою, Всемилостивѣйшій ГОСУДАРЬ, что означенныя чувства нашего безграничнаго вѣрноподданства всегда будутъ руководить нами и что мы не отстанемъ ни отъ какихъ жертвъ, которыя признаны будутъ нужными для защиты Твоего Государства и Престола, за долговѣчность котораго мы возсылаемъ наши искреннія молитвы къ Небу.

О! Да будетъ воля Царствующаго на небесахъ, чтобы ненавистники Твоего Государства исчезли мгновенно и чтобы Твой Престолъ и Твой Августѣйшій Домъ существовали навсегда и вѣчно, къ счастію всѣхъ Твоихъ вѣрныхъ подданныхъ, которые горячо желаютъ находиться подъ *непосредственною Твоею защитою* и къ огромному числу которыхъ принадлежитъ вѣрноподданнѣйшая израильская община м. Вилковышки, Кальварійскаго уѣзда, Августовской губерніи.

(Слѣдуютъ подписи).

Отъ крестьянъ гмины Антоново Августовской губ. маріампольскаго уѣзда.

ИМПЕРАТОРЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ,

ЦАРЪ ПОЛЬСКІЙ!

Не сочти, ГОСУДАРЬ, вѣрноподданныхъ Твоихъ за какихъ либо неблагонамѣренныхъ и не покорныхъ участниковъ мятежа. Открываемъ передъ Тобою сердца наши, какъ передъ Отцомъ духовнымъ, что замышлять что либо противъ законнаго Русскаго Правительства никогда въ нашемъ помышленіи не было и впередъ не будетъ имѣть въ ономъ мѣста.

Дѣйствительно, частичка молодыхъ и неопытныхъ людей нашего сословія, большею частью неодобрительной нравственности, были втянуты въ число мятежниковъ происками пановъ, шляхты и самымъ духовенствомъ, но совершенно не по убѣжденію и не по собственной волѣ, а насильно и съ угрозами смерти. Виновные изъ нихъ уже арестованы и осуждены за это, остальные же всѣ возвратились къ своимъ занятіямъ. Прости послѣднихъ, ГОСУДАРЬ и Отецъ Милостивый, какъ прощаетъ Творецъ небесный заблудшихъ овецъ своего стада.

Было бы верхъ неблагодарности съ нашей стороны непомнить того, что Ты, Благодѣтель нашъ, чрезъ освобожденіе насъ отъ барщины, поставилъ въ совершенную независимость отъ пановъ и шляхты, отъ которыхъ столь долго страдали мы и предки наши. Богомъ вдохновенная мысль Твоя, приведенная Тобою въ исполненіе, переселила насъ съ семействами въ новую жизнь.

Да будетъ благословенно за это Имя Твое, ГОСУДАРЬ и незабвенный нашъ Благодѣтель, во вѣки вѣковъ!

Повергнуть наши вѣрноподданническія чувства къ подножію Престола Твоего было уже давно нашимъ нелицемѣрнымъ желаніемъ; но гнетъ мятежа надъ нами и смутныя событія въ нашей странѣ и наше при томъ невѣденіе, было причиной, что мы опоздали передъ нашими сосѣдями, которые успѣли это сдѣлать ранѣе.

Спѣша съ изъявленіемъ передъ Тобой, ГОСУДАРЬ, нашихъ искреннихъ и вѣрноподданническихъ чувствъ, даемъ торжественную предъ Тобою клятву, что еслибы паче чаянія съ будущей весной повторилось тоже, что и нынѣ, то мы остаемся непоколебимо вѣрными Твоему Правительству, и ежели потребуешь, всѣ поголовно съ войскомъ Твоимъ пойдемъ карать мятежниковъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, Великій ГОСУДАРЬ, просимъ Тебя принять въ число подданныхъ Твоей Великой Россіи и насъ, меньшихъ ея братьевъ, подъ сѣнь тѣхъ же законовъ, какія постановлены и для нихъ.

(Слѣдуютъ подписи).

Отъ крестьянъ гмины Соколупяны Маріампольскаго Уѣзда, Августовской губерніи.

ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО,

ВСЕМИЛОСТИВѢЙШІЙ МОНАРХЪ!

Горько слышать намъ, что противу законнаго Правительства вспыхнулъ бунтъ, поддерживаемый безразсудною Польской Шляхтой. Отецъ Нашъ! Спокойствіе нашего края для насъ весьма дорого! Все наше достояніе и самую жизнь готовы мы посвятить на защиту и поддержаніе сего блага. Не отвергай выраженія чувствъ нашихъ, яко Твоихъ вѣрноподданныхъ дѣтей, мы же готовы умереть для блага Твоей Державы. Благоволи принять насъ, Монархъ Благодушный, подъ крыло твоей защиты, присоедини насъ къ Твоей Имперіи, обезпечь насъ правами, которыми Ты осчастливилъ милліоны Твоихъ народовъ! Мы же, сохраняя нерушимо вѣрноподданническое повиновеніе, непрестанно будемъ возноснть молитвы наши ко Всевышнему, чтобы Онъ ниспослалъ благодать Свою на Тебя, Государь Всепресвѣтлѣйшій, на Домъ Твой и на дорогое наше Отечество.

Съ сердечною любовью и привязанностью осмѣливаемся повергнуть къ стопамъ Твоимъ выраженія чувствъ нашихъ.

ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА вѣрноподданные.

(Слѣдуютъ подписи.)

Отъ евреевъ гмины города Замброва.

ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО,

Императоръ Всероссійскій, Царь Польскій!

Стеченіе несчастныхъ обстоятельствъ настоящаго времени выставило насъ, какъ не сохранившихъ вѣрноподданническія чувства къ ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ. Подозрѣніе это вполнѣ несправедливо.

Нынѣ дозволено намъ, жителямъ города Зомброва, обратиться къ МОНАРХУ нашему съ всеподданнѣйшимъ симъ письмомъ и очистить себя отъ обвиненія незаслуженнаго, а равно принести увѣренія въ ис-

TREŚĆ

Część Urzędowa.

NAJPODDANNIEJSZE LISTY.

Od mieszkańców m. Wierzbołowa.

Wielki CESARZU!

Najmiłościwszy MONARCHO!

Smutno nam słyszeć, iż przeciw sprawiedliwemu rządowi wszczęty został bunt przez nierozsądną szlachtę polską. Ojcze nasz! spokój kraju naszego dla nas jest drogim, dla obrony jego gotowi jesteśmy poświęcić wszystko co mamy, a nawet życie nasze. Usłuchaj nas jako wiernopoddanych dzieci Twoich, i my gotowi jesteśmy umrzeć dla korzyści całego swojego kraju; rozkaż Cnotliwy MONARCHO, przyjąć nas pod skrzydło Twoje. Przyjmij nas do Twego mocarstwa, ochroń nas prawami, któremi uszczęśliwione są miljony narodu Twojego, za co, przy wiernopoddaństwie naszém będziemy zanosili modły do Najwyższego Boga, żeby on błogosławił Ciebie, Wielki CESARZU, Twój dom i drogą naszą ojczyznę.

Że z zupełną miłością i przychylnością składamy u stóp Twoich nasze serdeczne życzenie, na to wiernopoddani Twojéj CESARSKIEJ MOŚCI podpisujemy się.

(Następują podpisy).

Od żydowskiéj gminy m. Wilkowyszek, Augustowskiéj gubernji, Kalwaryjskiego powiatu.

Najjaśniejszy MONARCHO!

Przy obecnych okolicznościach, kiedy miljony Twoich wiernych poddanych czują się wewnętrznie pobudzeni do wyrażenia swéj nieograniczonéj, czystéj, serdecznéj wierności u podnoża Twojego wysokiego Tronu, tutejsza izraelska gmina ośmiela się też przyłączyć do ogólnego głosu podobnyż wyraz swoich najczystszych wiernopoddańczych uczuć.

Z czystego serca wiernopoddańczość i istotne przywiązanie do Tronu były zawsze niewzruszoném prawidłem izraelitów, które oni zawsze uważali za święte przykazanie swéj religji, tém bardziéj czują oni siebie obowiązanymi do zachowania tego przepisu, zostając pod silnym rządem naszego NAJJAŚNIEJSZEGO CESARZA, pod miłościwém berłem którego my doszliśmy do równo-uprawnienia i niezliczonych mądrych reform, których rozwój na nieszczęście, czasowo został wstrzymany, skutkiem naruszenia porządku spowodowanego przez wrogów rossyjskiego państwa.

Przeto my czujemy się święcie obowiązanymi uroczyście wyrazić przed Tobą, Najmiłościwszy CESARZU, iż rzeczone uczucia naszego nieograniczonego wiernopoddaństwa zawsze będą przewodniczyć nam i że my nie będziemy dalecy od żadnych ofiar, jakie będą uznane za potrzebne dla obrony Twojego Cesarstwa i Tronu, za długowieczność którego, zanosim szczere modlitwy do Nieba.

O, niech będzie wola królującego w niebiesiech, żeby nienawidzący Twoje Cesarstwo zginęli w mgnieniu oka i oby Tron Twój i Twój Najjaśniejszy Dom istniały na zawsze i wiecznie dla szczęścia wszystkich Twoich wiernych poddanych, którzy gorąco pragną znajdować się pod bezpośrednią Twoją obroną i do ogromnéj liczby których należy wiernopoddańcza gmina żydowska m. Wilkowyszek, powiatu Kalwaryjskiego gub. Augustowskiéj.

(Następują podpisy).

Od włościan gminy Antonowo augustowskiéj gubernji, marjampolskiego powiatu.

CESARZU Wszech Rossji! KRÓLU Polski!

Nieuważaj CESARZU wiernopoddanych Twoich, za jakichkolwiek złomyślnych uczęstników buntu. Odkrywamy przed Tobą serca nasze, jako przed ojcem duchownym, że zamyślać cokolwiek przeciw prawnemu rossyjskiemu rządowi nigdy w naszéj myśli nie było, i w przyszłości nie będzie miało w onéj miejsca....

Rzeczywiście cząstka młodych i niedoświadczonych ludzi naszego stanu, większéj części nagannéj moralności, byli wciągnięci do liczby powstańców, przez knowania panów, szlachty i przez samo duchowieństwo, lecz wcale nie z przekonania i nie z dobréj woli, a gwałtem i groźbą śmierci. Winni z nich już są aresztowani i osądzeni za to, pozostali zaś wszyscy wrócili do swych zajęć. Przebacz ostatnim CESARZU i Ojcze Miłościwy, jako przebacza Stwórca niebieski, zbłąkanym owcom ze swego stada.

Byłoby najwyższą niewdzięcznością z naszéj strony, niepomnieć na to, iż Ty jesteś nasz Dobroczyńca, przez uwolnienie nas od pańszczyzny, postawiłeś w zupełnéj niezależności od panów i szlachty, od których tak długo cierpieliśmy i przodkowie nasi. Przez Boga natchniona myśl Twoja doprowadzona przez Ciebie do skutku, przesiedliła nas z rodzinami naszemi do lepszego życia.

Niech będzie błogosławione za to Imię Twoje CESARZU i niezapomniany nasz Dobroczyńco na wieki wieków.

Złożyć nasze wiernopoddańcze uczucia u podnóża Tronu Twego było już oddawna naszém nieobłudném życzeniem; lecz ucisk powstania nad nami i smutne wypadki w naszym kraju i nasza przy tém niewiadomość były przyczyną, iż my opóźniliśmy się w porównaniu z naszymi sąsiadami, którzy pośpieszyli uczynić to wcześniéj.

Śpiesząc z wyrazem przed TOBĄ CESARZU naszych szczérych i wiernopoddańczych uczuć, składamy uroczystą przed TOBĄ przysięgę, iż jeśliby nadspodzianie z przyszłą wiosną powtórzyło się to samo, co teraz, to my zostaniemy niezwyciężenie wiernymi Twojemu rządowi i jeśli zapotrzebujesz, wszyscy pogłównie z wojskiem Twojém pójdziemy karać powstańców.

Zarazem Wielki CESARZU prosimy Ciebie przyjąć nas do liczby poddanych Twojéj wielkiéj Rossji i nas mniejszych jéj braci pod osłonę tychże praw, jakie są postanowione dla nich.

(Następują podpisy).

Od włościan gminy Sokołupiany powiatu marjampolskiego gubernji augustowskiéj.

Wasza CESARSKA MOŚĆ!

Najmiłościwszy MONARCHO!

Gorzko jest nam słyszeć, iż przeciw prawnemu rządowi wszczął się bunt, podtrzymywany przez nierozsądną polską szlachtę. Ojcze Nasz! spokój kraju naszego jest dla nas bardzo drogi! Całe nasze mienie i nawet życie gotowi jesteśmy poświęcić dla obrony i podtrzymania tego dobra. Nieodrzucaj wyrazu uczuć naszych, jako Twoich wierno-poddanych dzieci, my zaś gotowi jesteśmy umrzeć dla dobra Twego Państwa. Racz przyjąć nas, MONARCHO Arcy rozumny, pod skrzydło obrony Twojéj, przyłącz nas do Twego Cesarstwa i zabezpiecz nam prawa, któremi Ty uszczęśliwiłeś miljony Twoich narodów! My zaś zachowując niewzruszenie wiernopoddańcze posłuszeństwo, nieustannie będziemy zanosili modlitwy nasze do Najwyższego, aby on zesłał łaskę swoją na CIEBIE CESARZU NAJJAŚNIEJSZY, na Dom Twój i na drogą naszą Ojczyznę.

Z serdeczną miłością i przywiązaniem ośmielamy się złożyć u stóp Twoich wyrazy uczuć naszych.

WASZEJ CESARSKIEJ MOŚCI wiernopoddani.

(Następują podpisy).

Od starozakonnych gminy m. Zambrowa.

Najjaśniejszy CESARZU Wszech Rossji, KRÓLU Polski etc. etc. etc.

Zbieg nieszczęśliwych okoliczności czasu obecnego wystawił nas jakobyśmy zapomnieli o wiernopoddańczych ku Waszéj CESARSKIEJ MOŚCI uczuciach. Jest to podejrzeniem, o zupełnie nam obce uczucie. Podano nam śmiałość, i razem z tém dano nam mieszkańcom miasta Zambrowa dozwolenie ułożyć ten list w celu oczyszczenia siebie od wszelkiego poderzenia i wyrazić uczucia wiernopoddańcze, napełniające serca każdego z nas. Gwałty i powstanie w kraju pogrążyły nas w jak

креннѣйшихъ чувствахъ вѣрныхъ подданныхъ, которыя хранятся въ сердцахъ каждаго изъ насъ.

Насилія мятежа повергли насъ въ глубокую горесть, и не взирая на наши внутреннія убѣжденія, бунтовщики угрозами смерти принуждали спокойныхъ жителей принимать участіе въ ихъ самоуправіи, подвергая истязаніямъ и смерти всѣхъ, кто имъ сопротивлялся; многія семейства лишились такимъ образомъ отцевъ своихъ и дѣтей, которые противъ воли своей должны были повиноваться ихъ страшному гнету.

ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО! Сколько лѣтъ уже мы находимся съ радостнымъ чувствомъ подъ славною Державою Вашею и пользуемся обновленною жизнью, по милости дарованныхъ Вами намъ правъ! Причины подозрѣнія насъ, къ несчастію, существуютъ, но Богъ видитъ какъ сердца наши обливаются кровью при одной мысли, что насъ почтутъ за соучастниковъ возстанія.

Нынѣ, когда разлившійся на весь край терроризмъ наконецъ уничтоженъ, когда законъ и справедливость вошли въ дѣйствіе и когда мы чувствуемъ себя подъ мощной защитой россійской Имперіи, мы просимъ прощеніе въ томъ, въ чемъ бы насъ могли заподозрѣть, и приносимъ явно сердечную и торжественную присягу на вѣчную и нерушимую привязанность къ ВАШЕМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, вознося ежедневныя молитвы къ Всемогущему Богу о славномъ царствованіи ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА.

Прося о принятіи нашего вѣрноподданнѣйшаго письма, остаемся вѣрными подданными ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА.

(Слѣдуютъ подписи).

— Членъ отъ министерства внутреннихъ дѣлъ повѣрочной коммиссіи Ошмянскаго уѣзда, колл. сов. НИКОТИНЪ, произведенъ за выслугу лѣтъ въ статскіе совѣтники; исправляющій должность секретаря Вилен. каз. палаты протоколистъ тит. сов. Серафинъ КОНЧЕВСКІЙ, утвержденъ секретаремъ сей палаты; помощникъ контролера, Костромской казенной палаты, коллеж. секр. Павелъ ЧУФАРОВСКІЙ, опредѣленъ испр. долж. уѣзднаго казначея въ городъ Троки; приставъ 3-го стана Ошмянскаго уѣзда губ. секр. БУТКЕВИЧЪ уволенъ отъ сей должности, а на его мѣсто опредѣленъ тит. сов. ТИМОФѢЕВЪ.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ВИЛЬНО.

23 ноября пріѣхалъ въ Вильно по желѣзной дорогѣ изъ С. Петербурга министръ государственныхъ имуществъ, генералъ лейтенантъ Александръ Алексѣевичъ *Зеленый* и остановился во дворцѣ, занимаемомъ главнымъ начальникомъ края. 24-го числа представились его высокопревосходительству военные и гражданскіе чиновники и дворянство.

Въ Н. 128 Вил. Вѣст. мы сообщили извѣстіе, что въ Вильнѣ, люди преданные долгу и чести, горячо сочувствующіе дѣлу умиротворенія, пожелали въ день ангела Михаила Николаевича Муравьева, открыто и гласно заявить свою благодарность, свое уваженіе. Съ этою цѣлію подано письмо къ начальнику губерніи С. Ф. Панютину, слѣдующаго содержанія:

Милостивый Государь,

Степанъ Федоровичъ!

Вся русская земля преисполнена сочувствіемъ къ самоотверженію и подвигамъ Михаила Николаевича Муравьева.

Въ православной русской землѣ нѣтъ памятника выше святыни.

И мы положили воздвигнуть въ здѣшнемъ краѣ, въ мѣстѣ, которое будетъ указано его высокопревосходительствомъ, православную церковь во имя Архистратига Михаила.

Мы желали бы, чтобы въ этой церкви постоянно приносились молитвы за долгоденствіе Михаила Николаевича и объ успокоеніи всѣхъ павшихъ жертвою при усмиреніи мятежа.

Въ настоящій дорогой для насъ день, мы русскіе, свидѣтели умиротворенія западнаго края, покорнѣйше просимъ исходатайствовать разрѣшеніе на открытіе подписки для сооруженія церкви. Вильно, 8 ноября 1863 года.

Письмо это подписано 507 лицами духовнаго, военнаго и гражданскаго вѣдомствъ.

По доведеніи о семъ до свѣдѣнія главнаго начальника края, его высокопревосходительство, Михаилъ Николаевичъ, съ сердечною благодарностью принявъ заявленіе сочувствія къ его дѣятельности, высказалъ, что онъ желалъ бы возобновить на жертвуемыя деньги въ подобающемъ величіи одинъ изъ древнѣйшихъ православныхъ храмовъ города Вильно—Николаевскую церковь. Церковь сія, по сказанію литовскихъ лѣтописцевъ, основана второю женою Ольгерда, княжною тверскою Іуліяною Александровною (1349—1377 г.). Въ настоящее время церковь эта не только не соотвѣтствуетъ знаменитости памятника, но и мало удовлетворяетъ современному положенію св. Православнаго храма.

Начальникъ губерніи представилъ объ этомъ министру внутреннихъ дѣлъ, съ просьбою объ исходатайствованіи Высочайшаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА соизволенія на открытіе подписки.

Нынѣ министръ внутреннихъ дѣлъ увѣдомилъ начальника губерніи, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ по всеподданнѣйшему его докладу ходатайства о разрѣшеніи открыть подписку для сооруженія Православной церкви во имя Михаила Архистратига и объ отзывѣ по сему предмету виленскаго генералъ-губернатора, Высочайше соизволилъ разрѣшить открыть подписку, на тѣхъ основаніяхъ, которыя указаны желаніемъ генерала отъ инфантеріи Муравьева.

Подписка на сей предметъ въ Вильнѣ уже открыта *), и число пожертвованныхъ денегъ по настоящее число простирается 9,026 р.

Помѣщики Гродненской губерніи Бѣльскаго уѣзда Чеславъ Забѣльскій, Мартинъ Завадскій и Петръ Шепетовскій пожертвовали изъ причитающихся имъ выкупныхъ ссудъ по 200 р. с. каждый, на постройку и содержаніе Дубяжинскаго сельскаго училища, а помѣщикъ Бѣльскаго же уѣзда Ѳома Завадскій, кромѣ пожертвованія изъ того же источника 300 р. сер. на постройку Дубяжинскаго Волостнаго Правленія, первый подалъ примѣръ къ добровольному соглашенію съ крестьянами, при исчисленіи Повѣрочною коммисіею повинностей, за поступающую въ ихъ собственность землю. Г. Главный Начальникъ края, получивъ донесеніе Гродненскаго губернатора о такомъ похвальномъ поступкѣ изъясненныхъ выше помѣщиковъ, поручилъ генералъ-маіору Скворцову объявить имъ искреннюю благодарность его высокопревосходительства.

Французскій купеческій домъ изъ С. Петербурга заключилъ съ городскою думою контрактъ на освѣщеніе газомъ города Вильно. Производство работъ уже начато; всѣ главныя улицы будутъ освѣщены къ сентябрю 1864 года.

11-го тек. ноября происходило обыкновенное засѣданіе Виленской археологической коммисіи подъ предсѣдательствомъ дѣйст. члена Николая *Малиновскаго* за отсутствіемъ, по болѣзни, предсѣдателя графа Евстахія *Тышкевича*.

Открывши засѣданіе, предсѣдательствующій г. Малиновскій предложилъ ученому секретарю прочесть составленный имъ обзоръ неизданной доселѣ переписки князя Януша Радзивилла съ отцомъ своимъ Христофоромъ, гетманомъ вел. княжества литовскаго. Это собраніе писемъ, относящихся къ 1596—1602 г. включительно и скопированныхъ въ числѣ многихъ другихъ стараніями гр. Евстахія Тышкевича съ рукописей Императорской публичной библіотеки въ С.-Петербургѣ, было передано для пересмотра и критической оцѣнки дѣй. чл. Ник. Малиновскому, глубоко знающему исторію встарину могущественнаго въ краѣ дома Радзивилловъ какъ въ Несвижскомъ, такъ и Биржанскомъ поколѣніяхъ. Удовлетворяя возложенному на него порученію, авторъ представилъ любопытное начертаніе обстоятельствъ и открылъ сокровенныя пружины, вліявшія на образованіе характера и умственнаго развитія князя Януша Радзивилла, бывшаго два раза въ своей жизни причиною домашнихъ неурядицъ, чѣмъ и очернилъ свое имя въ потомствѣ. Далѣе авторъ на основаніи собственноручныхъ писемъ Януша Радзивилла описываетъ пребываніе его въ Базелѣ, въ Швейцаріи, гдѣ онъ подъ руководствомъ извѣстныхъ богослововъ Якова Гринея и Аманда Полана, проникнулся духомъ кальвинизма, усердно исповѣдуемаго его отцомъ княземъ Христофоромъ. Изъ Швейцаріи молодой путешественникъ отправился въ Страсбургъ, гдѣ вошелъ въ тѣсную дружбу съ знаменитымъ поэтомъ того времени Даніиломъ Наборовскимъ. Въ интересномъ повѣствованіи своемъ авторъ посвятилъ большой отдѣлъ пребыванію молодого князя при дворѣ французскаго короля Генриха IV, гдѣ онъ нѣкоторое время посвящалъ себя наукамъ въ основанной имъ въ Парижѣ военной академіи. Тамъ онъ обучался подъ руководствомъ славнаго въ то время Плювинеля верховой ѣздѣ, и впослѣдствіи принималъ дѣятельное участіе въ походѣ Генриха IV въ Аміенъ, въ Пикардіи, занятую тогда испанцами. Во время осады онъ своимъ присутствіемъ духа и явнымъ самоотверженіемъ спасъ жизнь королевскаго любимца барона de Терме́, чѣмъ онъ заслужилъ особаго вниманія французскаго короля, такъ что, когда Радзивилъ оставилъ дворъ, чтобы удалиться въ станъ великаго князя австрійскаго Матвѣя при Прессбургѣ, король вручилъ ему письмо къ отцу, въ которомъ отзывается съ большою похвалою о по способностяхъ и вообще о его поведеніи. Далѣе авторъ описываетъ участіе князя Радзивилла въ походѣ противъ турокъ, предпринятомъ по повелѣнію австрійскаго императора Рудольфа II подъ предводительствомъ его брата великаго князя Матвѣя съ цѣлью освобожденія столицы Венгріи, Буды, находившейся тогда въ рукахъ магометанъ. Находясь въ Тырновѣ, въ Венгріи, князь случайно встрѣтился съ г-жею Узелини, тещею славнаго Бекеша, сынъ котораго получилъ отъ короля Стефана на вѣчныя времена имѣніе Ованты и въ малолѣтствѣ своемъ находился подъ опекою князя Христофора Радзивилла. Сказавъ за тѣмъ нѣсколько словъ о побѣдахъ, одержанныхъ Польскимъ отрядамъ въ австрійскомъ войскѣ противъ турокъ, авторъ далѣе описываетъ возвращеніе князя Радзивилла зимою 1598 года на родину, гдѣ вскорѣ должна была разыграться драмма домашнихъ распрей между домами Ходкѣвичей и Радзивилловъ, соперничавшихъ за руку княжны слуцкой Софіи Олельковичъ, драммы, кончившейся обвѣнчаніемъ княжны съ княземъ Радзивилломъ. Дѣй. членъ М. Малиновскій обѣщалъ представить подробности этого любопытнаго историческаго отрывка въ другой части своей статьи къ будущему засѣданію.

Въ заключеніе, по окончаніи всѣхъ текущихъ вопросовъ и по прочтеніи корреспонденціи коммисіи, ученый секретарь прочелъ списокъ пожертвованіямъ, обогатившимъ Музеумъ въ продолженіи истекшаго мѣсяца.

Императорская Академія Наукъ, 2-ю книжку II-го тома и 1-ю кн. III т. своихъ записокъ за 1861—62 г.

Гр. Евстафій Тышкевичъ, предсѣдатель, торнскій талеръ Іоанна Казимира съ 1659 г.

Круповичъ Маврикій, дѣй. а членъ, серебрянную монету съ 1764 г.

Лойба, два сочиненія, 3 серебрянныя монеты и 1 мѣдную аметистовую печать и выродокъ куриннаго яйца.

Редакція журнала министерства народнаго просвѣщенія: книжку журнала своего за октябрь мѣсяцъ.

Рижское Ученое Общество Исторіи и древностей, 1-й выпускъ X-го тома своихъ Mittheilungen.

Пальчевскій Іосифъ, французскую шпагу съ 1812 г.

*) Въ канцеляріи начальника губерніи.

najgłębszą rozpacz, Polacy nie zwrócili uwagi na nasze przekonania wewnętrzne; groźbami śmierci zmusili oni spokojnych mieszkańców brać udział w ich dowolnych czynnościach. Okropne tortury i męczeństwa śmierci runęły na tych, którzy sprzeciwiali się ich woli, wiele rodzin pozbawionych zostało ojców, i wiele dzieci mimowolnie musiało uledz straszliwym groźbom i okropnym gwałtom. WASZA CESARSKA MOŚĆ, wiele lat temu jak my cieszymy się pod Waszéj Cesarskiéj potężnéj siły i pełném chwały berłem, z życia odnowionego przez łaskawość Waszéj potęgi. Oby się ona podniosła. Nam darowano wiele praw, jest powód nas podejrzenia, lecz Pan Bóg widzi jak serca nasze zalewają się krwią na samą myśl, że będą mieli nas za uczęstników powstania.

Teraz, kiedy rozpowszechniony w kraju terroryzm został zniszczony, kiedy prawo i sprawiedliwość weszły w swe prawa, kiedy my czujemy się pod potężną obroną rossyjskiego Cesarstwa, prosimy o przebaczenie za to, o co nas mogą podejrzewać, i przynosimy niniejszém publicznie i uroczyście szczerą przysięgę, świetną jako ofiara całopalenia, na wieczną i nie zachwianą przychylność ku WASZEJ CESARSKIEJ MOŚCI, czyniąc codzień modlitwy do Pana Boga o potężném panowaniu WASZEJ CESARSKIEJ MOŚCI.

Prosząc o przyjęcie naszego najwiernopoddańszego adresu, zostajemy wiernymi poddanymi WASZEJ CESARSKIEJ MOŚCI.

(Następują podpisy).

— Członek od ministerjum spraw wewnętrznych kommissji weryfikacyjnéj Oszmiańskiego powiatu radca kollegjalny NIKOTIN mianuje się za wysługę lat radcą stanu; pełniący obowiązek sekretarza Wileń. izby skarbowéj protokolista radca honorowy Serafin KONCZEWSKI został utwierdzony sekretarzem téjże izby; pomocnik kontrolera Kostromskiéj izby skarbowéj sekr. koll. Paweł CZUFAROWSKI, mianowany został pełniącym obowiązek kassjera powiatowego w m. Trokach; prystaw 3-go cyrkułu Oszmiańskiego pttn sekr. gub. BUTKIEWICZ został uwolniony od tegoż obowiązku, a na jego miejsce mianowany został radca honorowy TIMOFIEJEW.

CZĘŚĆ NIEURZĘDOWA

WILNO.

Dnia 23 listopada przybył do Wilna koleją żelazną z St. Petersburga minister dóbr państwa jenerał-porucznik Aleksander syn Aleksego ZIELONYJ, i stanął w pałacu, który zajmuje p. główny naczelnik kraju. Dnia 24-go, jego ekscellencji przedstawiali się wojenni i cywilni urzędnicy, oraz dworzaństwo.

W N. 128 „Kur. Wil." zakomunikowaliśmy wiadomość, iż w Wilnie ludzie oddani obowiązkowi i honorowi, gorąco współczujący sprawie uśmierzenia, zapragnęli w dzień imienin Michała Mikołajewicza Murawjewa otwarcie i głośno wyrazić swoją wdzięczność i swe poważanie. W tym celu podano list do p. Naczelnika gubernji S. T. Paniutina następnéj treści:

„Łaskawy panie, Stefanie synu Teodora!

Cała ziemia rossyjska napełniona jest współczuciem ku zaparciu się i czynom Michała Mikołajewicza Murawjewa.

W prawosławnéj ziemi rossyjskiéj niema wyższego pomnika nad świątynię.

I my postanowiliśmy wznieść w kraju tutejszym, w miejscu, które będzie wskazane przez jego excellencję, cerkiew prawosławną pod wezwaniem Archanioła Michała.

My życzylibyśmy, żeby w téj cerkwi ciągle zanoszone były modły za długie lata Michała Mikołajewicza i za spokój wszystkich ofiar poległych przy uśmierzeniu powstania.

W dzisiejszym drogim dla nas dniu, my rossyjscy świadkowie uśmierzenia zachodniego kraju, najpokorniéj prosimy wyjednać dozwolenie na otwarcie subskrypcji dla wzniesienia cerkwi. Wilno 8 listopada 1863 roku.

List ten został podpisany przez 507 osob duchownego, wojskowego i cywilnego zarządów.

Po zawiadomieniu o tém p. głównego naczelnika kraju, jego excellencja Michał Mikołajewicz z serdeczną wdzięcznością przyjąwszy wyraz współczucia ku swéj działalności, wypowiedział, iż życzeniem jego byłoby odnowić za ofiarowane pieniądze z należytą wspaniałością jedną z najdawniejszych prawosławnych świątyń Wileńskich, cerkiew Mikołajewską. Cerkiew ta, wedle podań litewskich kronikarzy, zbudowana została przez drugą żonę Olgierda, księżnę Twerską Juljannę Aleksandrównę (1349—1377 r.) W obecnym czasie cerkiew ta nietylko, że niejest odpowiednią znakomitości pamiątki, lecz też mało zaspakaja współczesny stan ś. Prawosławnéj świątyni.

P. naczelnik gubernji przedstawił o tém do p. ministra spraw wewnętrznych, z prośbą o wyjednanie CESARZA JEGO MOŚCI zezwolenia na otwarcie subskrypcji.

Teraz p. minister spraw wewnętrznych zawiadomił pana naczelnika gubernji, iż CESARZ JEGO MOŚĆ na najpoddanniejszy jego referat o dozwoleniu otwarcia subskrypcji na wybudowanie Prawosławnéj cerkwi pod wezwaniem Archanioła Michała, tudzież o odezwie w tym względzie p. wileńskiego jenerał-gubernatora, Najwyżéj raczył dozwolić otworzyć subskrypcję na tych warunkach, jakie są wskazane życzeniem jenerała piechoty Murawjewa.

Subskrypcja na ten cel w Wilnie już została otwarta *) i liczba ofiarowanych pieniędzy do obecnego czasu wynosi 9,026 r. sr.

— Obywatele gubernji grodzieńskiéj powiatu Bielskiego, Czesław Zabielski, Marcin Zawadzki i Piotr Szepietowski, ofiarowali z przypadających im opłat wykupowych po 200 rs. każdy, na pobudowanie i utrzymanie Dubiażyńskiéj szkółki wiejskiéj, obywatel zaś powiatu Bielskiego Tomasz Zawadzki, oprócz ofiary z tegoż samego źródła 300 rs. na zbudowanie Dubiażyńskiego gminowego zarządu; pierwszy dał przykład dobrowolnéj ugody z włościanami, przy wyliczeniu przez komissję weryfikacyjną powinności za przechodzące na ich własność grunta. Pan główny naczelnik kraju, otrzymawszy doniesienie od grodzieńskiego gubernatora o takim chwalebnym postępku wyżej rzeczonych obywateli, polecił jenerał-majorowi Skworcowowi objawić im szczere podziękowanie Jego Ekscelencji.

Dom handlowy francuzki z St. Petersburga, zawarł z tutejszą dumą kontrakt na oświecenie gazem miasta Wilna. Roboty już rozpoczęte; wszystkie główniejsze ulice będą oświecone do września 1864 roku.

Dnia 11 b. m. listopada r. b. odbyło się zwyczajne posiedzenie komissji archeologicznéj wileńskiéj, pod przewodnictwem rzeczywistego członka Mikołaja Malinowskiego, z powodu choroby prezesa hr. Eustachego Tyszkiewicza.

Po zagajeniu posiedzenia, przewodniczący rzecz. człon. Mikołaj Malinowski polecił sekretarzowi naukowemu odczytać napisany przez siebie artykuł, obejmujący sprawozdanie z niewydanéj dotąd korespondencji księcia Janusza Radziwiłła z ojcem swoim księciem Krzysztofem hetmanem w. w. ks. lit. Ten zbiór listów pisanych w przeciągu czasu od r. 1596 do 1602 włącznie, staraniem hr. Eustachego Tyszkiewicza przepisany w liczbie wielu innych z rękopismów znajdujących się w Cesarskiéj publicznéj bibljotece w Petersburgu, poruczony był do przejrzenia i krytycznego ocenienia rz. czł. Mikołajowi Malinowskiemu jako najgłębiéj znającemu dzieje możnego niegdyś w kraju domu Radziwiłłów obu dzielnic Nieświeżskiéj i Birżańskiéj. Jakoż wywiązując się z danego sobie polecenia, autor w zajmującym obrazie skreślił okoliczności i odsłonił ukryte sprężyny, które wpływały na ukształcenie charakteru i umysłu księcia Janusza Radziwiłła, który dwa razy w życiu swojém był sprawcą domowych zamieszek i smutnym przez to imię swoje dla potomności otoczył rozgłosem. W dalszym ciągu autor opisał, zawsze opierając się na własnoręcznych jego listach, pobyt jego w Bazylei, w Szwajcarji, gdzie pod przewodnictwem wielkich teologów Jakóba Grineusa i Amanda Polanusa umocnił się w zasadach kalwinizmu, którego gorliwym wyznawcą był jego ojciec książę Krzysztof. Ze Szwajcarji młody podróżnik udał się do Strasburga, gdzie się połączył ścisłemi węzłami przyjaźni z Danjelem Naborowskim, znakomitym podówczas poetą. Długi ustęp w zajmującém opowiadaniu swojém poświęcił sprawozdawca pobytowi młodego księcia na dworze króla francuzkiego Henryka IV, gdzie czas jakiś poświęcał się naukom w założonéj przezeń akademji wojskowéj w Paryżu, wdrożył się tam do konnéj jazdy pod przewodnictwem słynnego wówczas Pluvinela i nareszcie brał czynny udział w wyprawie Henryka IV pod miastem Amiens w Pikardji, zajętém przez Hiszpanów. Tam, podczas oblężenia, przytomnością umysłu i z osobistém narażeniem się ocalił życie ulubieńca królewskiego barona de Thermée, co mu zjednało wielkie względy u króla francuzkiego, tak, że gdy opuszczał dwór jego dla udania się do obozu arcyksięcia austrjackiego Macieja pod Presburgiem, wręczył mu list do ojca jego, w którym wielkie pochwały jego dzielności i całemu postępowaniu oddawał. W dalszym ciągu sprawozdania swojego, autor opisuje udział księcia Janusza Radziwiłła w wyprawie przeciwko Turkom, przedsięwziętéj z rozkazu cesarza austrjackiego Rudolfa II pod sprawą brata jego arcyksięcia Macieja, w celu zdobycia stolicy Węgier Budy, która się wówczas w ręku wyznawców Islamu znajdowała. Podczas pobytu w Tyrnau w Węgrzech książę Janusz miał zręczność spotkać się z panią Uzelini, matką żony sławnego Bekiesza, którego syn otrzymał od króla Stefana wieczyste nadanie majętności Owanty i podczas swéj małoletności znajdował się pod opieką księcia Krzysztofa Radziwiłła. Udzieliwszy kilka szczegółów o przewagach kontyngensu polskiego w wojsku austrjackiém przeciw Turkom, autor opisuje powrót księcia Janusza Radziwiłła do kraju zimą 1598 roku, gdzie się wkrótce miał odegrać dramat zatargi domowéj dwóch rodzin, Chodkiewiczów i Radziwiłłów, ubiegających się o rękę księżniczki Słuckiéj Zofji Olelkowiczowny, który się zakończył zaślubieniem jéj przez księcia Janusza Radziwiłła. Szczegóły tego ciekawego ustępu dziejów rz. czł. M. Malinowski obiecał skreślić w drugiéj części swego sprawozdania na przyszłém posiedzeniu.

Następnie po załatwieniu spraw bieżących i odczytaniu korrespondencji, sekretarz naukowy odczytał następujący spis ofiar, które wzbogaciły Muzeum w miesiącu ubiegłym.

Cesarska Akademja Nauk w Petersburgu, przesłała 2-gi poszyt II-go tomu i 1-y poszyt III-go swoich Pamiętników z r. 1861 r.

Hr. Tyszkiewicz Eustachy, prezes, talar toruński Jana Kazimierza z r. 1659.

Krupowicz Maurycy rz. czł. monetę srebrną pięćdziesięciogroszową z r. 1764.

Łojba, dwa dzieła w tyluż tomach, trzy monety srebrne i jedną miedzianą, pieczęć herbowną ametystową i wyrodek jaja kury domowéj.

Redakcja Dziennika Ministerjum Narodowego Oświecenia, zeszyt dziennika za miesiąc październik.

Ryzkie Towarzystwo Naukowe, zeszyt wydawanych przez się Mittheilungen (zehnten Bandes erstes Heft).

Palczewski Józef, szpadę francuzką z roku 1812.

*) W biurze p. naczelnika gubernji.

Петрулевичъ Владимиръ, пять гравюръ и автографы Петра Великаго.

Ивицкій Ѳома, старинный топоръ, найденный имъ въ Предолахъ въ диспенскомъ уѣздѣ, и два наконечника древнихъ копій.

Князь Жагель Адамъ Эдуардъ, грамоту короля Іоанна Казиміра, данную Якову Тропу на пожизненное владѣніе пороховымъ заводомъ возлѣ Вильна 1664 г. и 2 мѣдныя монеты.

Коротынскій Викентій, чл. сотр., старинную карту Царства Польскаго, изд. Гоманомъ въ Нюренбергѣ.

Воль Оскаръ, серебрянную монету

Вейсъ Феликсъ, 7 автографовъ Ваньковича, Бахматовича и Сокульскаго.

Кс. Козловскій Игнатій настоятель велико-бржостовицкаго прихода, соч. подъ заг. Marci Antoni Coccii Sabellici exemplorum libri decem, 1514. Lipsci impr. Jacobus Thanner.

ПРУДОНЪ О ПОЛЬСКОМЪ ВОПРОСѢ.

(Продолженіе).

Чтобы быть справедливымъ и избѣжать пристрастія, укажемъ на фактъ, который, кажется, ускользнулъ отъ вниманія историковъ. Источника бѣдствій Польши надобно искать въ организаціи, которая съ X столѣтія сдѣлалась въ ней господствующею и за которую слѣдуетъ обвинять не поляковъ, но скорѣе человѣческую природу; я говорю про организацію дворянства.

Нѣтъ надобности въ эту минуту тратить время на напрасныя разсужденія о санкюлотизмѣ; читатель весьма бы ошибался и жестоко бы меня обидѣлъ, ожидая отъ меня чего нибудь подобнаго. Аристократія, какъ и самая власть монархическая, у всѣхъ народовъ принадлежитъ къ первоначальнымъ учрежденіямъ, вездѣ она служитъ для массъ знаменемъ и даетъ имъ направленіе, организируетъ власть, совершенствуетъ монархію и исчезаетъ тогда только, когда простой народъ дѣлается совершеннолѣтнимъ.

Извѣстно, сколько было политическаго генія, необыкновенной добродѣтели и величія характера въ патриціяхъ Римскихъ;какіе они оставили примѣры и преданія народу; съ какою мѣткостію воззрѣнія, съ какимъ постоянствомъ вели они латинскій народъ ко всемірному завоеванію. Этотъ примѣръ показываетъ намъ, какое было нѣкогда предназначеніе аристократіи, что въ теченіи поколѣній первенству ея придавало законность и какъ мы должны смотрѣть на нее.

Неменѣе извѣстно могущество англійской аристократіи и какое участіе принимала она въ основаніи и развитіи Великобританской свободы; какъ съ свойственнымъ ей духомъ прогресса съумѣла пріобрѣсть довѣріе и до какой степени могущества привела народъ. Аристократія организовала въ Англіи мѣщанскій классъ и народъ. Неизвѣстно, писалъ гдѣ то Джонъ Россель, когда крѣпостное право уничтожено въ Англіи. Англійская аристократія падетъ какъ всякая другая, но не потянетъ за собою народа и умирающую, ее еще окрылитъ слава за то, что оставляетъ послѣ себя превзошедшую ее демократію.

Мнѣ хотѣлось сказать здѣсь по поводу Польши и въ оправданіе ея то именно, что дворянское сословіе, столь опасное для племенъ самаго сильнаго характера, въ Польшѣ же получившее столь преувеличенное значеніе—менѣе соотвѣтствовало духу поляковъ, нежели духу всякаго другаго народа, находящагося за сто миль отъ центра ихъ тяготѣнія, ихъ нравственной силы и умственнаго направленія, до такой степени, что едва успѣло оно организоваться,какъ уже сдѣлалось орудіемъ развращенія нравовъ, бичемъ крестьянъ и государства.

Славянскій духъ противится идеѣ кастъ. Въ Польшѣ, какъ и вездѣ, аристократія образовалась самостоятельно, сначала изъ превосходства способностей, потомъ вслѣдствіе занятія высшихъ должностей и различія состояній. Но эти непрочныя начала вскорѣ и несомнѣнно должны бы были умереть, ежели бы въ нее не проникли изъ за границы вмѣстѣ съ христіанствомъ основанія католической церкви и феодализма.

Въ Россіи патріархальные обычаи лучше сохранились; основанія греческой церкви непредставляли столько противудѣйствія; каста дворянъ образовалась позже, заимствованная, или подражаемая Польской, и не успѣла одержать верхъ надъ могуществомъ Царской власти. Совсѣмъ другое мы видимъ въ Польшѣ, гдѣ церковь господствовала надъ короною и вслѣдствіе того феодальное вліяніе свободно распространялось.

Народныя массы не могли противудѣйствоватъ; власть королей, стѣсняемая епископами, явилась безсильною; всѣхъ охватила настоящая горячка пріобрѣтать права дворянства, и эта горячка оказалась на столько настойчивою, на сколько искатели дворянскихъ привиллегій менѣе были того достойны; и вотъ дворянское сословіе, изуродованное при самомъ рожденіи своемъ, неимѣя собственной силы духа, но все захватывающее и пріобрѣтающее, существовало только для униженія нисшаго сословія, для погибели государства и къ стыду всего народа.

Никогда народъ небылъ до такой степени обманутъ тѣми, кои, казалось, должны были упрочить его величіе, какъ въ Польшѣ дворянствомъ и духовенствомъ. Никогда небудетъ довольно повторять, что аристократія, опасная сама по себѣ, на которую во всякомъ случаѣ надобно смотрѣть только какъ на переходный органъ,—гибельна для простыхъ и чувствительныхъ сердецъ, у которыхъ тщеславіе, какъ у женщинъ, беретъ верхъ надъ гордостью, и которыхъ запальчивое или боязливое *я*, въ ровной степени неспособно, какъ повелѣвать такъ и владѣть.

Славяне—большія дѣти,не такъ сотворены, чтобы изъ нихъ, неподвергаясь опасности, можно было создать аристократовъ. Дворянство, его титулы, привиллегіи и наслѣдства они приняли какъ дѣтскую игрушку; оно имъ понравилось, какъ нравились богатые мѣха, прекрасное оружіе, лошади и совершаемые на нихъ быстрые набѣги. Мысль, чтобы смотрѣть на себя, какъ на государственныхъ мужей, вотчинныхъ руководителей—была отъ нихъ на разстояніи ста миль. Они никогда не были въ состояніи постичь извѣстнаго изрѣченія западной аристократіи: *дворянство обязываетъ* (noblesse oblige).

. . . .

Въ продолженіе многихъ вѣковъ Польша служила соблазномъ для Европы по причинѣ своихъ несогласій; она нравственно умерла въ 1696-омъ году и со смертью Собѣскаго испустила послѣднее свое дыханіе. Собѣскій былъ величайшій изъ мужей, какихъ когда либо имѣла Польша, съ истинно возвы- шеннымъ и благороднымъ сердцемъ; но потому-тоименно шляхта, кажется, и ненавидѣла его болѣе всѣхъ королей. По смерти Казиміра III, послѣдняго піаста, въ 1370 году, Польша начала торговать своею короною, какъ блудница своими прелестями. При этихъ сдѣлкахъ она получила въ барышъ, кромѣ денегъ отъ кандидатовъ, присоединеніе Литвы, неизмѣримыя и плодоносныя пространства которой такъ кстати доставляли польской шляхтѣ средства къ улученію своей участи, но съ которою она, помимо угодливости Ягеллоновъ и ихъ преемниковъ, не переставала жить въ разладѣ.

Братское единеніе литовцевъ и поляковъ, т. е. шляхты обѣихъ странъ—ибо и тутъ и тамъ народъ въ счетъ не входилъ—составляетъ, по моему мнѣнію, миѳъ, и никто не можетъ теперь сказать, чтобы ихъ примиряло по крайней мѣрѣ несчастіе. Когда затѣмъ домъ Ягеллоновъ угасъ, поляки въ 1587 году, обратились къ династіи Вазовъ, вмѣстѣ съ которою они возъимѣли надежду сдѣлаться владѣтелями Швеціи. Для этой цѣли Сигизмундъ III велъ войну съ своей родиной, Швеціей,—войну столько же несправедливую, сколько и не политическую, за которую два шведскихъ героя, Густавъ Адольфъ и Карлъ XII заставили Польшу жестоко поплатиться.

И такъ, что же мы видимъ при первомъ взглядѣ на Польшу и ея исторію? Именно то, что польская народность поглощена исключительно шляхтою. Спрашиваю послѣ этого: что общаго имѣетъ эта шляхетская каста съ демократическою Европой, стремящеюся къ равенству состояній, и конституціею?

Далѣе, чему учитъ насъ второй взглядъ? Тому, что по прекращеніи своихъ королей эта шляхта впродолженіе четырехъ вѣковъ признавала надъ собою господство иноземныхъ князей: венгерскихъ, литовскихъ, французскихъ, трансильванскихъ, шведскихъ и саксонскихъ. Послѣ этого опять таки спрашиваю: Какъ можетъ польская шляхта жаловаться теперь на свою зависимость отъ государей прусскихъ, австрійскихъ и русскихъ? Никогда не умѣли быть поляками, а толкуютъ о народности.

Польскую исторію съ самаго ея начала можно назвать долговѣчнымъ упадкомъ—это высказалъ другъ поляковъ, историкъ Сальванди. Странно: насъ хотятъ склонить къ воскресенію національности, отвергаемой ея собственными лѣтописями.

Исключая болѣе выдающіяся личности, встрѣчаемыя въ Польшѣ, какъ въ любой другой странѣ, народъ изуродованный уже своимъ обращеніемъ, лишенный, благодаря католическо-феодальнымъ выходкамъ, своихъ учрежденій, въ разладѣ съ собственнымъ духомъ, сохранившій лишь свои недостатки, наконецъ остановленный въ своемъ развитіи, такой народъ, кажется, не можетъ имѣть ни политическаго инстинкта, ниже сознанія справедливости.

Что касается гражданскаго права, то этотъ народъ своею опекою надъ общинами и крестьянскою свободою, дозволилъ погибнуть славянскому владѣнію, не успѣвъ пріобрѣсть у себя, даже для пользы дворянства, истиннаго благоустройства собственности. Съ 964 до 1139 года по образцу Франціи при Гуго Капетѣ, соперникѣ имперіи, онъ стремится къ образованію монархіи, но и въ этомъ успѣть не можетъ.

Королевское достоинство поколеблено аристократіею. Сохранилось только названіе; учрежденіе существовало лишь для вида. „Не хочу быть королемъ на бумагѣ, сказалъ трансильванецъ Стефанъ Баторій,одинъ изъ величайшихъ людей, какіе только царствовали, но никогда не скажемъ управляли Польшей. Подозрѣваютъ, что ядъ прекратилъ жизнь этого монарха, представителя правительственной идеи. Король въ Польшѣ раздавалъ староства, онъ былъ самымъ блистательнымъ паномъ и больше—ничего.

По прекращеніи наслѣдственной династіи, обратились къ иностранцамъ—и началась большая мистификація. Прельщенные титломъ польскаго короля, котораго значенія и трудовъ не понимали, соискатели сбѣгались съ сѣвера и запада, съ востока и юга, разсыпали сокровища, держали открытые столы; а коль скоро пріобрѣли чего желали, имъ предлагали на разсмотрѣніе pacta conventa, саркастическую хартію, совершенно уничтожавшую ихъ власть.

(Продолженіе будетъ)

L'Europe, отъ 25-го ноября, сообщаетъ подробный анализъ отвѣта россійскаго Императора Наполеону III и объяснительной депеши князя Горчакова. По словамъ этого журнала, Императоръ Александръ объявляетъ, что его тронуло величіе инниціативы Наполеона III и что Его Величество не менѣе самого императора французовъ желаетъ мирнаго разрѣшенія спорныхъ вопросовъ, Его Величество полагаетъ, что человѣколюбіе, цивилизація и прогрессъ требуютъ устраненія кровопролитій. Наконецъ, воздается должная хвала намѣреніямъ, которыми руководствовалась французская политика. Но до изъявленія согласія своего на конгрессъ, Императоръ Александръ проситъ Наполеона III съ точностію изложить проектъ, столь блистательно обрисованный, и прямо указать вопросы, которыми долженъ будетъ заняться конгрессъ, а равно и цѣли, которыхъ онъ долженъ достигнуть. Справедливость требуетъ, чтобы государю, принявшему на себя славную инниціативу созванія европейскаго конгресса, принадлежало право и чтобы на немъ лежала обязанность — изложить и программу его. Въ объяснительной депешѣ, князь Горчаковъ развиваетъ подробно и въ лестныхъ для французскаго правительства выраженіяхъ письмо Императора Александра, и наложивъ всѣ выгоды и преимущества мирныхъ распоряженій и дружественнаго соглашенія между европейскими державами, составляющими верховный третейскій судъ, онъ проситъ, чтобы проектъ былъ подробно формулированъ, съ тѣмъ чтобъ его можно было обсудить во всѣхъ его практическихъ частностяхъ. Къ этому анализу газета l'Europe прибавляетъ: „Нельзя было выйдти изъ затруднительнаго положенія, блистательнѣе, съ точки зрѣнія русскихъ интересовъ, и болѣе обязательнымъ образомъ въ отношеніи къ императору Наполеону.“

— La Nation, 25-го ноября, утверждаетъ, что если даже предварительные переговоры не будутъ имѣть успѣха, и конгрессъ не соберется, тѣмъ не менѣе въ результатѣ окажется, что послѣдовало сближеніе между Парижемъ, Берлинемъ и С. Петербургомъ, „сближеніе, которое носитъ въ себѣ зародышъ соглашенія, несравненно болѣе искренняго и дѣйствительнаго чѣмъ то, которое существуетъ теперь между Франціей и Англіей.

(Моск. Вѣд. Н. 253)

Въ частной корреспонденціи Русскаго Инвалида пишутъ изъ Варшавы 10 (22) ноября. Не смотря на то, что чадъ начинаетъ проходить и многія вещи представляются большинству въ настоящемъ ихъ свѣтѣ, зачинщики и орудія не вполнѣ теряютъ надежду и изподтишка выказываютъ противудѣйствіе, возбуждающее иногда улыбку. Извѣстно, что при помощи объявленнаго штрафа, маскарадъ на улицахъ прекратился, но нѣкоторыя патріотки, идя въ костелъ, сверхъ цвѣтнаго платья надѣваютъ траурное и сбрасываютъ его перейдя за порогъ. Этому фокусу, вѣроятно, научилъ ихъ тотъ ксендзъ-капуцинъ, который писалъ посланіе противъ кринолина и призывалъ на нихъ громы небесные!—

Pietrulewicz Włodzimierz, pięć rycin i podobiznę listu Piotra Wielkiego.

Iwicki Tomasz, dawny topór znaleziony w Przedołach w powiecie dziśnieńskim gub. wileńskiéj i dwa żeleźca dawnych kopij.

Książę Żagiel Adam Edward, list króla Jana Kazimierza z r. 1664 na dożywotnie mieszkanie Jakóbowi Tropowi na Prochowni Hamer pod Wilnem i dwie monety miedziane.

Korotyński Wincenty czł. współpr., dawną mapę Królestwa Polskiego przez Homanna w Norymberdze.

Wobl Oskar, monetę srebrną.

Weiss Feliks, siedm autografów Walentego Wańkowicza, Bachmatowicza i Sokulskiego.

Ks. Kozłowski Ignacy, proboszcz wielkobrzostowicki, dzieło p. t. Marci Antoni Coccii Sabellici exemplorum libri decem: 1514. Lipsci impr. Jacobus Thanner.

PROUDHON O SPRAWIE POLSKIEJ.

(Ciąg dalszy ob N. 134).

Aby być sprawiedliwymi i uchylić wszelką niechęć, zacznijmy od wypowiedzenia faktu, który zdaje się, że wymknął się z pod uwagi dziejopisów. Wszystkie nieszczęścia Polski wzięły źródło w instytucji, która od X wieku stała się tam górującą, a o którą nie należy oskarżać Polaków; tylko przyrodzenie ludzkie było tu winném; chcę mówić o instytucji szlacheckiéj.

Nie idzie w téj chwili o czcze opowiadanie sansculotizmu; czytelnik głębokoby się mylił i czyniłby mi krzywdę, czekając odemnie czegoś podobnego. Arystokracja należy u wszystkich ludów, jak i sama monarchja, do formacji pierwotnéj; wszędzie nadaje ona massom popęd i znamię, kształci monarchję, organizuje władzę; wówczas tylko znika, kiedy gmin dorasta do pełnoletności.

Wiadomo, jaki był genjusz polityczny, niezrównana cnota i majestat charakteru patrycjatu rzymskiego; jakie zostawił przykłady, jakie podania ludowi; z jaką trafnością wzroku, z jaką stałością prowadził gmin łaciński do zawojowania świata. Ten przykład pokazuje nam, czém było niegdyś zadanie arystokracji; co przez ciąg pokoleń jéj przewagę czyniło prawowitą i jak sądzić ją dziś przystoi.

Również znana jest siła arystokracji angielskiéj; jaki udział wzięła ona w założeniu i rozwoju swobód wielkobrytańskich; jak przez właściwy sobie duch postępu umiała stać się popularną i na jaki stopień potęgi wzniosła naród. Arystokracja utworzyła mieszczaństwo i lud w Anglji. Niewiadomo, napisał gdzieś John Russell, kiedy poddaństwo zostało zniesione w Anglji. Arystokracja angielska upadnie, jak każda inna; ale nie pociągnie za sobą narodu, i umierając okryje się sławą, że zostawia wyższą od siebie demokrację.

Chodziło mi o zapisanie tu, z powodu Polski i na jéj uniewinnienie, tego właśnie, że instytucja szlachecka, już tak niebezpieczna dla plemion najsilniejszego hartu, a która przyjęła w Polsce tak wygórowaną rozciągłość, mniéj przypadała do ducha Polaków, niż do wszelkiego innego, położonego o sto mil za obrębem środka ich ciężkości, ich moralnéj tęgości, i treści ich umysłu; tak dalece, iż zaledwie ukształcona, stała się czynnikiem rozkładowym obyczajów, biczem chłopów i państwa.

Duch słowiański niezgodny jest z ideą kast. W Polsce, jak gdzie indziéj, arystokracja wywinęła się samorzutnie, naprzód z nierównych zdolności, następnie ze sprawowania urzędów i z rozmaitości uposażeń. Ale ten wątły zaród wkrótce i niewątpliwieby zamarł, gdyby z zagranicy razem z chrześcijaństwem, nieotrzymał był popędu kościoła katolickiego i feodalnego.

W Rossji pierwotne obyczaje lepiéj się utrzymały; kapłaństwo greckie mniéj było tam sprzeczne; klassa panów utworzyła się tam późno, przyniesiona lub naśladowana z Polski, i nie doszła do wzięcia góry nad popularną władzą carów. Wprost inaczéj było w Polsce, gdzie kościół panował nad koroną; wpływ zatém feodalny miał tam wszelką swobodę.

Duch mass nie mógł oddziaływać; królewskość, trzymana w karbach przez biskupów, znalazła się bezsilną; ogarnęła wszystkich prawdziwa gorączka uszlachcania się, tém zapalniejsza, im ubiegający się o to byli mierniejszymi i rzekome plemię szlacheckie, skażone od urodzenia, niemające własnego ducha, ale podgarniając pod siebie i posiadające wszystko, żyło tylko dla zbękarcenia ludu, na zgubę państwa i hańbę narodu.

Nigdy naród nie był do tego stopnia zdradzony przez tych, którzy, zdawało się, powinni byli zapewnić jego wielkość, jego szlachectwo i duchowieństwo. Bo niemożna dość powtarzać, że arystokracja, niebezpieczna sama z siebie, którą przystoi, w każdym stanie sprawy, uważać tylko za organ przejścia, jest zgubną dla serc prostych i czułych, w których próżność, jak u niewiast, góruje nad ambicją, i których ja zapędne lub lękliwe, równie jest niezdolne do rozkazywania, jak do posiadania.

Słowianie, wielkie dzieci, niebyli tak stowarzyszonymi, aby z nich, bez niebezpieczeństwa, można było wyrobić szlachtę. Przyjęli szlachectwo, jego nazwy, jego przywileje i ojcowizny, jak zabawkę dziecinną; pokochali je, jak bogate futra, piękną broń, konie i odbywane na nich bystre gonitwy. O sto mil daleką od nich była myśl mieć siebie za mężów politycznych, za przewodników gminu. Nigdy nie zrozumieli oni owego hasła arystokracji zachodniéj, że szlachectwo obowiązuje (noblesse oblige). . . . .

. . . .

Polska, w ciągu mnogich wieków, gorszyła Europę swojemi niezgodami, moralnie umarła w 1696, i z Sobieskim wyzionęła ostatnie tchnienie. Sobieski, największy z mężów jakich Polska wydała, serce prawdziwie wzniosłe i szlachetne, ale właśnie dla tego był ze wszystkich królów, którego szlachta zdawała się najbardziéj nienawidzie. Od śmierci Kazimierza III, ostatniego Piasta w roku 1370, Polska poczęła frymarczyć swoją koroną, jak nierządnica wdziękami. Na tym targu zyskała, oprócz pieniędzy kandydatów, przyłączenie Litwy, któréj niezmierzone i żyzne obszary właśnie w porę dostarczyły szlachcie polskiéj środków do poprawienia swéj doli, ale z którą, mimo powolności Jagiellonów i ich następców, nie przestała żyć w niezgodzie.

Zjednoczenie braterskie Litwinów i Polaków, t. j. szlachty obu krajów, ponieważ jak w jednym, tak w drugim, gmin nie wchodził w rachubę, to zjednoczenie mówię, jest mytem i nikt nie zdoła dziś powiedzieć, że przynajmniéj pogodziło ich wspólne nieszczęście. Późniéj, po wygaśnieniu Jagiellonów, Polacy zwrócili się ku dynastji Wazów w 1587, z którą powzięli nadzieję zostania panami Szwecji. W tym celu król Zygmunt III toczył ze Szwecją, swoją ojczyzną, wojnę równie niesprawiedliwą, jak niepolityczną, za którą okrutnie odpokutować kazali Polsce Gustaw Adolf i Karol XII, dwaj bohaterowie szwedzcy.

Owoż, za pierwszym rzutem oka na Polskę i jéj dzieje, cóż odkrywamy? Oto, że narodowość polska wyłącznie zawiera się w szlachcie; pytam więc co ta kasta szlachecka ma wspólnego z Europą demokratyczną, dążącą do zrównowania stanów i konstytucyjną?

Drugi rzut oka czegoż nas więcéj naucza? Że ta szlachta, po wygaśnieniu swych królów, wzywała do panowania nad sobą, przez cztery wieki, książąt cudzoziemskich, węgierskich, litewskich, francuzkich, siedmiogrodzkich, szwedzkich, saskich. Znowu więc pytam, jakiém czołem szlachta polska żali się dzisiaj, że podlega monarchom pruskim, austrjackim i rossyjskim? Nie umieliście nigdy być Polakami, a mówicie o narodowości.

Historję polską od jéj początku można nazwać długim upadkiem: wyrzekł to dziejopis Salvandy, przyjaciel Polaków. Dziwna, że chcą skłonić nas do wskrzeszenia narodowości, którą potępiły jéj własne roczniki.

Wyłączywszy indywidualności wybitniejsze, natrafiane w Polsce jak gdzie indziéj, naród skażony przez samo nawrócenie swoje, wyzuty przez wyskoki katolicko-feodalne, z własnych instytucij, w rozbracie ze swym duchem, a zatrzymujący tylko swoje wady, zatamowany nakoniec w swym rozwoju, zdaje się być równie pozbawionym instynktu politycznego, jak poczucia sprawiedliwości.

Co się tycze prawa cywilnego, pozwolił on zaginąć posiadłości słowiańskiéj, opiekuńczéj nad gminą i swobodą chłopską, nie doszedłszy u siebie, nawet na korzyść szlachty, prawdziwego kształtu własności. Kusi się na wzór Francji Hugona Capeta, spółzawodnika cesarstwa, o ustalenie się w monarchję, od 964 do 1139, i dokazać tego nie może.

Królewskość jest obalona i unicestwiona przez arystokrację. Nazwę zachowano, instytucja tylko z podobieństwa istniała. „Nie chcę być królem malowanym,“ powiedział Stefan Batory Siedmiogrodzianin, jeden z największych ludzi, jacy panowali,— nie powiemy nigdy, rządzili w Polsce. Jest podejrzenie, że trucizna skróciła dni tego monarchy, wyobraziciela myśli rządowéj. Król w Polsce był rozdawcą starostw, najokazalszym z panów: ale prócz tego — niczém.

Kiedy wygasła dynastja rodzima, zwrócono się do cudzoziemców; wówczas rozpoczęła się wielka mistyfikacja. Oczarowani nazwą króla polskiego, któréj nie pojmowali ani znaczenia, ani ciężarów, pretendenci zbiegali się z północy, z zachodu, ze wschodu i południa, rozsypywali skarby, trzymali otwarte stoły; a po dobiciu targu, podawano im do oprzysiężenia pacta conventa, kartę urągliwą, niweczącą zupełnie ich władzę. (D. c. n.)

— L'Europe, z 25 listopada udziela szczegółową analizę odpowiedzi Rossyjskiego Cesarza Napoleonowi III i depeszy wyjaśniającéj księcia Gorczakowa. Wedle słów tego dziennika Cesarz Aleksander wyraża iż jego rozczuliła wspaniałość inicjatywy Napoleona III i że Jego Cesarska Mość niemniéj od cesarza Francuzów pragnie pokojowego rozstrzygnienia kwestij spornych. Jego Cesarska Mość sądzi iż ludzkość, cywilizacja i postęp wymagają usunięcia krwi rozlewu. Nakoniec oddaje się należna pochwała zamiarom, którémi przewodniczyła się polityka francuzka. Lecz przed zgodzeniem się na kongres Cesarz Aleksander prosi Napoleona III ściśle wyłuszczyć projekt tak świetnie zarysowany i po prostu wykazać kwestje, którémi powinien będzie zająć się kongres, równie też cele, które takowy osięgnąć powinien. Sprawiedliwość wymaga, aby mocarzowi, który podjął się znakomitéj inicjatywy zwołania europejskiego kongresu, należało prawo i aby na nim spoczywał obowiązek podania programu onegoż. W depeszy objaśniającéj, książę Gorczakow rozwija szczegółowie i w chlubnych dla rządu francuzkiego wyrazach list Cesarza Aleksandra i wykazawszy wszystkie dogodności i przewagi pokojowych rozporządzeń i polubownego porozumienia się między mocarstwami europejskiemi, składającemi najwyższy sąd polubowny, prosi, aby projekt został szczegółowo sformułowany z tém, aby takowy można było rozważyć we wszystkich praktycznych jego szczegółach. Do téj analizy gazeta l'Europe dodaje: „Niepodobna było wyjść z trudnéj pozycji świetniéj, z punktu widzenia interesów rossyjskich i w bardziéj obowiązujący sposób względem cesarza Napoleona.“

— La Nation 25 listopada zapewnia, że jeśli nawet przedwstępne rokowania nie będą miały powodzenia i kongres nie przyjdzie do skutku, niemniej jednak w skutku się okaże, że nastąpiło zbliżenie się pomiędzy Paryżem, Berlinem i St.-Petersburgiem, „zbliżenie, które nosi na sobie początek porozumienia się daleko szczerszego i rzeczywistszego niż to, jakie teraz istnieje między Francją i Anglją.“

— W prywatnéj korrespondencji „Inwalida rossyjskiego“ piszą z Warszawy 16 (22) listopada: Niezważając na to, iż czad poczyna przemijać i wiele rzeczy przedstawia się większości w rzeczywistém ich świetle, przywódcy i narzędzia ich niezupełnie tracą nadzieję i po cichu przeciwdziałają, przez co tylko śmiech czasem wzbudzają.

Wiadomo, że przy pomocy ogłoszonego sztrafu, maskarada na ulicach ustała, lecz niektóre patrjotki, idąc do kościoła, prócz kolorowéj sukni wkładają żałobną i zrzucają je wyszedłszy za próg. Téj sztuki nauczył ich zapewne ów ksiądz kapucyn, który pisał list przeciw krynolinom i wzywał na nie pioruny niebieskie! Charakterystyczną cechą obecnego ruchu jest ta, iż podobne bezsensowne po-

Характеристическая черта настоящаго движенія та, что подобныя безсмысленныя дѣйствія въ глазахъ многихъ имѣютъ таинственный смыслъ и, не смотря на всю несообразность такихъ выходокъ, вліяніе женщинъ на волненіе и теперь замѣтно.

Въ началѣ безпорядковъ женщины формировали букеты—бѣлыхъ и красныхъ. „Букеты," въ своемъ кружкѣ, занимались пропагандой революціи, собирали деньги, составляли лотереи, вышивали революціонныя знамена и хоругви, шили въ банды бѣлье, щипали корпію и, сверхъ того, каждый цвѣтокъ букета долженъ былъ, еженедѣльно лично дѣлать извѣстный взносъ, въ пользу повстанія. За двѣ недѣли до покушенія на жизнь исправлявшаго должность намѣстника власть и руководство революціоннымъ движеніемъ перешли отъ „бѣлыхъ" въ руки „ярыхъ," иначе „запаленныхъ" или мирославчиковъ. Вслѣдствіе этой перемѣны букеты окончательно разсыпались и составилась новая организація изъ женщинъ, извѣстная подъ именемъ *піонтекъ*, потому что каждая компанія или кружокъ состоялъ изъ пяти членовъ.

Піонтки не занимались пропагандой: главная ихъ обязанность была шпіонство и донесенія о всемъ, что вредитъ или можетъ повредить революціи; они взносили жонду еженедѣльно по два злотыхъ; получали деньги и выдавали по 6 руб. сер. въ мѣсяцъ квартирныхъ тѣмъ семействамъ, члены которыхъ были въ бандѣ; устраивали у себя революціонныя засѣданія и даже нѣкоторыя не были чужды участія въ плачевныхъ происшествіяхъ, позорищемъ которыхъ были улицы Варшавы. Организація піонтекъ открыта, и черезъ нея получены важныя свѣдѣнія.

Открытія, сдѣланныя въ Варшавѣ и дѣйствія войскъ въ провинціяхъ приносятъ важныя послѣдствія. Съ 12 октября въ Варшавѣ не было ни одного скандала и признаки возвращенія къ здравому смыслу становятся несомнѣнны; теперь уже не оправдываютъ убійствъ на улицахъ и со вздохомъ замѣчаютъ, что революція не можетъ обойтись безъ крайностей! Слушаютъ, что говорятъ другіе и не бѣснуются при первомъ противорѣчіи, какъ это было нѣсколько недѣль тому назадъ, такъ что даже одинъ жидъ откровенно высказалъ такое мнѣніе: „да, вы, паны, купили себѣ бѣду, да еще за свои деньги! Чтобъ было подождать! Царь бы далъ все, что можно, а мы были бы счастливы, въ краѣ было бы тихо, покойно, *хандель* бы шолъ какъ слѣдуетъ, и теперь— ай-вай!"

— Хорошо, вамъ, жидамъ, говорить: ждите, да ждите! Вы все получили, а мы жди!

— Мы ждали больше васъ, да и теперь ждемъ Мессію!

Наконецъ и русскимъ начинаютъ отдавать нѣкоторую справедливость. Намъ пришлось услышать такую фразу, произнесенную глухимъ голосомъ: „да, правда, настоящій москаль не можетъ быть ни измѣнникомъ, ни шпегомъ!"

Въ Русс. Инв. пишутъ изъ Варшавы отъ 16 (28) ноября 1863.

Со времени нападенія на генерала Трепова, не было покушеній убійцъ патріотовъ: ремесло стало опаснымъ, да и денежныя средства жонду не позволяли ему возвысить учетъ за истинное проявленіе патріотической рѣшимости. Многочисленныя арестованія „стражи народовой" повели къ тому, что она получила приказаніе—разсыпаться и присоединиться къ бандамъ; самъ жондъ—„цѣня свое здоровье," выбрался до лясу и, по всей вѣроятности пріютится гдѣ нибудь въ Люблинской губерніи, гдѣ, по особеннымъ мѣстнымъ и преимущественно *пограничнымъ* условіямъ, еще таскаются банды повстанцевъ. Оставшіеся въ городѣ жандармы рѣшились освободиться отъ принадлежностей своей почтенной, патріотической профессіи и подбрасываютъ свои кинжалы на улицахъ. Такихъ подброшенныхъ инструментовъ до настоящаго времени подобрано до 15 штукъ. (Рус. Инв. N 258)

Charakterystyczną cechą teraźniejszego ruchu jest, że podobne bezmyślne po-stępki w oczach wielu mają znaczenie tajemne, i nie zważając na całą niewłaściwość takich psot, wpływ kobiet na wzburzenie i teraz jest widoczny.

* Z początku nieporządków, kobiety tworzyły b u k i e t y, białych i czerwonych. „Bukiety" w swoim kółku zajmowały się propagandą rewolucji, zbierały pieniądze, składały loterje, wyszywały rewolucyjne chorągwie, myły do band bieliznę, darły szarpie, i prócz tego każdy kwiatek bukietu powinien był, co tydzień, osobiście opłacać pewną kwotę—na rzecz powstania.

Na dwa tygodnie przed zamachem na życie pełniącego podówczas obowiązki namiestnika, władza i przewodnictwo rewolucyjnego ruchu przeszły od „białych" do rąk „zapalonych" albo mierosławczyków. W skutek téj przemiany bukiety ostatecznie rozsypały się i utworzyła się nowa organizacja z kobiet znana pod nazwą p i ą t e k, dla tego iż każda kompanja czyli kółko składało się z pięciu osób.

P i ą t k i niezajmowały się propagandą; głównym ich obowiązkiem było szpiegowanie oraz doniesienia o wszystkiém co szkodzi, lub może szkodzić rewolucji; one wnosiły rządowi co tydzień po dwa złotych, otrzymywały pieniądze i wydawały po 6 rs. miesięcznie na kwaterę tym rodzinom, których członkowie byli w bandzie; urządzały u siebie rewolucyjne posiedzenia, a nawet niektóre były nie obce opłakanych wypadków, których widowiskiem stały się ulice Warszawy. Organizacja piątek została odkryta i przez nią otrzymano wiele ważnych wiadomości.

Odkrycia uczynione w Warszawie i działania wojsk w prowincjach przynoszą ważne skutki. Od 12 października w Warszawie nie było ani jednego skandalu i oznaki powracania do zdrowego rozsądku stają się niewątpliwe: teraz już nie usprawiedliwiają zabójstw na ulicach i z westchnieniem powtarzają, iż rewolucja niemoże obejść się bez ostateczności! Słuchają co mówią inni i nie wściekają się przy pierwszém zaprzeczeniu, jak to było przed kilką tygodniami, tak iż nawet jeden żyd otwarcie powiedział takie zdanie: tak, wy panowie kupiliście sobie biedę, i to za własne pieniądze! Żebyście byli poczekali! Car dałby wszystko co można, a my bylibyśmy szczęśliwi, w kraju byłoby cicho, spokojnie, handel by szedł jak potrzeba, a teraz aj waj!

— Dobrze wam żydom mówić czekajcie i czekajcie! Wy wszystko otrzymaliście, a my czekaj!

— My czekaliśmy więcéj od was, nawet i teraz czekamy Messjasza!— Nareszcie i ruskim poczynają oddawać niejakąś sprawiedliwość. Przyszło się nam usłyszeć taki frazes wymówiony głuchym głosem: „tak, prawda, prawdziwy moskal niemoże być ani zdrajcą, ani szpiegiem."

— W „Inwalidzie rossyjskim" piszą z Warszawy pod 16 (28) listopada: Od czasu napadnięcia na jenerała Trepowa, niebylo zamachów zabójców-patrjotów: rzemiosło to stało się niebezpieczném, a nawet i pieniężne środki niepozwalały „rządowi" podnieść rachunek za istotny objaw patrjotycznego zdecydowania. Wieloliczne aresztowania „straży narodowéj" doprowadziły do tego, iż ona otrzymała rozkaz rozsypać się i dołączyć się do band; sam „rząd" — ceniąc swe zdrowie wybrał się do lasu i wedle wszelkiéj wiarogodności przytulił się gdzieś w lubelskiéj gubernji, gdzie ze względu na wyłączne miejscowo oraz p o g r a n i c z n e warunki, jeszcze tułają się bandy powstańców. Pozostali w mieście żandarmi postanowili uwolnić się od atrybutów swéj szanownéj patrjotycznéj professji i podrzucają swoje sztylety na ulicach. Takich podrzuconych instrumentów do dziś dnia zebrano 15 sztuk.

Wiadomości Zagraniczne.

Wilno, 25 listopada.

POGLĄD OGÓLNY.

W dalszym przebiegu sprawy szlezwizko-holsztyńskiéj przemówiły już stanowcze gło y Anglji, Austrji, Prus i Szwecji.

Po zapadłéj na dniu 1 października uchwale p r z y m u s u z w i ą z k o w e g o, zgon króla duńskiego Fryderyka VII i wstąpienie na tron Chrystjana IX, oraz ogłoszenie w Szlezwigu wspólnéj konstytucji, zagłosowanéj dnia 18 listopada, sprawę, samą z siebie aż nadto już drażliwą, uczyniły jeszcze zawilszą. Drobniejsze rządy i parlamenta niemieckie, rade były z odezwania się książęcia na Augustenburgu z prawem do spadkobierstwa; osądziły one, że to był najpozorniejszy sposób oderwania tych krajów od korony duńskiéj i wcielenia ich do niemieckiego związku.

Książę Fryderyk na Augustenburgu czynnie krzątać się począł, i nie zważając na uczyniony zarzut, iż jako syn nierównego małżeństwa, panować w Niemczech nie może, wyjednawszy mniéj więcéj wyraźne uznanie dworów saskich i brunświckiego kołatał do Austrji i Prus, o przyjęcie orędownictwa, przez te główne mocarstwa niemieckie, swoich roszczeń.

Niezrażony obojętnemi odpowiedziami, poszedł naprzód, i wyjednawszy rozkaz wielkiego książęcia badeńskiego, aby pełnomocnik jego przy sejmie związkowym, przedstawiał i jego osobę jako panującego nad Holsztynem, mianował pana Samver głównym kierownikiem całego przedsięwzięcia. Zdaje się, że użyty przez książęcia na Augustenburgu mąż stanu umiejętnie popiera roszczenia swego moco-dawcy, pełnomocnik zaś badeński, a dziś z upoważnienia swego rządu i augustenburski, na każdym kroku stawi trudności panu von Dirckincks pełnomocnikowi duńskiemu, przez najusilniejsze zabiegi u przedstawicieli drugorzędnych państw. niemieckich. Dzięki niezaprzeczonéj swéj zręczności, potrafili otrzymać dnia 28 listopada uchwałę sejmu związkowego, mocą któréj baron Dirckincks wyłączony został z grona pełnomocników mających prawo zasiadać na sejmie; przedstawiciel zaś królewsko-saski wystąpił z ważném wniesieniem, aby wojska związkowe o s a d z i ł y Holsztyn i trzymały to księstwo dopóty, dopóki sejm nie rozsądzi ostatecznie sprawy spadkobierstwa.

Na mocy tego postanowienia pan Samver wezwał rząd duński, w osobie pana Hall, prezesa rady i ministra spraw zagranicznych Chrystjana IX, aby wojska duńskie natychmiast z księstw ustąpiły.

Rzecz prosta, że ten list, przez pośrednictwo pana Mohl, pełnomocnika badeńskiego baronowi Dirckinckes doręczony, przyjętym niezostał, i że poseł duński, uwiadomiony o jego treści, zwrócił go bez złamania pieczęci. Zawsze to atoli dowodzi, że pan Samver znalazł za właściwe tak przemawiać, jak gdyby jego książę już przez całe Niemcy był uznanym za panującego w Szlezwigu i Holsztynie.

Dodawało zapewnie roszczeniom augustenburskim otuchy, przyjazne postępowanie kilku dziś obradujących parlamentów niemieckich, tudzież tu i ówdzie, jak naprzykład w Hanowerze, Hamburgu i w samym Frankfurcie, wynurzone objawy. Co do parlamentów, izby poselskie saskodarmsztadzka, wiedeńska, a nadewszystko pruska gotowe były natychmiast odsądzić Danję od księstw szlezwizko-holsztyńskiego i oddać je w dziedziczne posiadanie książęcia.

Wiadomo, że izby rady cesarstwa austrjackiego, nadzwyczaj są oględne w podnoszeniu pytań, wchodzących w obręb spraw zagranicznych.

Mądrze zaiste sobie w tém poczynają; kierunek tych spraw, wyłącznie do rządu

---

Bob-Rock.

przez

KAROLA SEELSFIELDA.

(Dalszy ciąg, ob. N. 134)

Podczas tego nieskończenie flegmatycznego sądowego posiedzenia, źle mi się nawet zrobiło: czułem się tak słabym, żem zaledwo mógł ustać na nogach. Ten chłód oburzający, a razem głębokie uczucie tych ludzi rozdrażniło nerwy moje. Śniadanie, obiad i kolacja nie smakowały mi wcale. Jednak i alkald nie był w lepszém usposobieniu, chociaż wcale z innego powodu. Nieukontentowanie jego wypływało stąd, że przysięgli niezgadzali się ze zdaniem jego, ażeby zachować Boba dla dobra ogólnego, jak on się wyrażał;— gniewał się, że za nadto prędko i lekkomyślnie zgodzili się na żądanie Boba, by go powiesić wówczas, gdy ten mógł jeszcze stać się bardzo użytecznym krajowi i społeczności. Wyprawić na tamten świat Johna, podłego, nikczemnego tchórza i zdrajcę Johna, było według niego najsprawiedliwiéj; lecz postąpić tak samo z Bobem, byłoby niedorzecznie i nierozważnie. Myśl o zbrodni przeciw społeczeństwu, przeciwko prawom boskim i ludzkim, wskazywanie na palec boży i zgryzoty sumienia, do niczego doprowadzić nie mogły.

— Bob—dowodził sędzia,—zgrzeszył przeciwko społeczeństwu, przeciwko swemu Stwórcy, i dla tego niewypada, ażeby Bob sam wymagał zadośćuczynienia: uciekając jak tchórz ze świata, przeciw któremu zgrzeszył, Bob tym sposobem nie usłuży ani Bogu, ani ludziom. I w liczbie tych czternastu obywateli było dwóch zabójców, którzy popełniwszy zbrodnie, uciekli ze Stanów, lecz niosą brzemię swéj winy z hartem i wytrwałością i pragną odkupić swój grzech, służąc gorliwie krajowi. Przedmiot ten był treścią rozmowy naszéj, którą prowadziliśmy cały wieczór, zapalając się coraz bardziéj. Skończyło się na tém, żeśmy się tylko co nie pokłócili i z tego powodu udaliśmy się wcześnie na spoczynek.

XI.

Nazajutrz, kiedyśmy jeszcze jedli śniadanie, przyjechał jakiś porządnie i czarno ubrany mężczyzna. Zsiadł z konia i podszedł do alkalda, który go spotkał słowami:

— A, to ty Bob?

I w rzeczy saméj był to Bob, chociaż z trudnością można było go poznać. Zamiast obrzydliwéj zbroczonéj krwią chustki, któréj szmaty wczoraj jeszcze spadały mu z głowy, miał kapelusz; zamiast kurtki skórzanéj, porządny sukienny surdut, ogolił brodę, słowem wyglądał jak dżentelmen. Wraz z ubraniem zdawało się, że i sam się zmienił; był spokojnym, cichym, pokornym, nawet łagodnym. Z wyrazem smutku w oczach, podał rękę alkaldowi, który ją ścisnął serdecznie i dość długo trzymał w swéj dłoni.

—Ach Bob, Bob!—rzekł do niego—dla czegoś nie słuchał tego, com ci oddawna powtarzał... Umyślnie wypisałem to ubranie z Nowego Orleanu, ażebyś przynajmniéj w niedzielę był porządnie ubrany i wyglądał na poczciwego człowieka. Jak często sprzeczałem się z tobą, wymagając, ażebyś włożył to ubranie i szedł z nami na meeting, kiedy pan Bliss miał mowę! Miałem w tém myśl ukrytą, pomnąc na przysłowie, które mówi: „jak cię widzą, tak cię piszą". Gdybyś był włożył pięćdziesiąt dwa razy na rok, pewnobyś zerwał stosunki swoje z Johnem; cel mój był dobry.

Bob milczał.

— Trzy razy tylko udało mi się zmusić cię, ażebyś włożył to odzienie i udał się na meeting. Ach Bob!

Bob milcząc, skinął głową.

— Tak, Bob! starałem się usilnie—mówił alkald—ażebyś się stał poczciwym człowiekiem. Zrobiłem wszystko, co tylko odemnie zależało.

— To prawda,—rzekł głucho, do głębi wzruszony Bob; — niech cię za to Bóg wynagrodzi.

W téj chwili przejęty byłem głębokim szacunkiem dla alkalda. Uścisnąłem dłoń jego. Alkald miał łzy w oczach, lecz ukrył je, wskazując na zastawione śniadanie.

Bob dziękował pokornie, lecz stanowczo odmówił wziąć cokolwiek do ust, mówiąc, że chce na czczo stanąć przed obrażonym Stwórcą i sędzią swoim.

Alkald odrzekł mu na to z surową powagą:

— Jeżeli chcemy podobać się Bogu, nie odmawiajmy sobie darów, które stworzył dla nas, dla sworzeń swoich, lecz używajmy ich i korzystajmy z nich rozsądnie. Jedz kochanku, pij! usłuchaj choć raz rady człowieka, który ci lepiéj życzy i troszczy się o ciebie więcéj aniżeli ty sam!

Bob usiadł do stołu.

Ledwieśmy skończyli śniadanie, nadjechała piérwsza partja przysięgłych. Zsiedli z koni i weszli do pokoju. Na twarzach ich malował się tylko wyraz texaskiéj flegmy. Obojętnie, nie zmieniając ani jednego rysu skłonili się sędziemu, mnie i Bob-Rockowi. Kiedy podano śniadanie, jedli z takim apetytem, jak gdyby całą dobę w ustach nic nie mieli. Kończyli już śniadanie, gdy nadjechali inni przysięgli. Też same ukłony, takież przywitania, ten sam apetyt. Jestem pewny, że w ciągu całego śniadania nie przemówili do siebie i stu wyrazów.

Nakoniec kiedy śniadanie się skończyło, alkald kazał murzynom sprzątnąć talerze i wyjść.

Murzyni spełnili rozkaz. Wówczas alkald siadł na końcu stołu, miejsca po obu stronach zajęli przysięgli, a przed nimi Bob. Co do mnie, odszedłem na stronę; to samo uczynili dwaj ludzie, którzy spełniwszy zabójstwo uciekli ze Stanów.

Stopniowo twarze wszystkich przybrały wyraz powagi odpowiedniéj ważności chwili.

— Panie White!— zaczął sędzia — jesteś pan prokuratorem, czy nie masz pan co do powiedzenia?

— Muszę powiedzieć, że pełniąc mój obowiązek i wywiązując się z danego mi polecenia, udałem się na wskazane przez Bob-Rocka, czy jak go tam nazywają, miejsce i znalazłem ciało człowieka, zabitego wystrzałem z gwintówki Bob-Rocka, czy jak go tam nazywają. Znalazłem też przy nim trzos z pieniędzmi, kilka listów polecających do różnych plantatorów.

— Czyś się pan dowiedział kto to taki?— zapytał alkald.

— Dowiedziałem się— odparł prokurator.—Z listów tych i poleceń dowiedziałem się, że człowiek ten był obywatelem z Illinois i jechał do San Felipe de Austin, ażeby kupić ziemię u półkownika Austin i tam się osiedlić.

Mówiąc to, prokurator wyjął z leżącéj przy nim małéj walizki, trzos z pieniędzmi, który wraz z listami położył na stole. Listy były rozpieczętowane, a na trzosie przyłożona pieczęć.

Alkald złamał pieczęć, przeliczył pieniądze, których było więcéj niż sto dollarów złotem i srebrem, potém przeliczył drobne, które wraz z kieską były u Boba. Prokurator przeczytał potém listy i polecenia.

W końcu jeden z korregidorów doniósł, że John i mulatka jego uciekli; że on sam z partją swoją ścigał ich, a kiedy ślady ich się rozdzieliły, korregidor zmuszony był podzielić ludzi swoich na dwie partje, które ścigając zbiegłych siedmdziesiąt mil prawie, nie zdołały dopędzić ich, a nawet dowiedzieć się o nich cokolwiek.

— Alkald słuchał doniesienia tego z widoczném nieukontentowaniem.

— Bob-Rock, — zawołał on nagle— zbliż się!

Bob podszedł ku niemu.

— Bob-Rock, czy jak się nazywasz! czy uznajesz się winnym tego, żeś zabił wystrzałem człowieka, u którego znaleziono te listy i pieniądze?

— Jestem winnym!— mruknął Bob.

— Panowie przysięgli!—zawołał znowu sędzia, — raczcie wyjść dla namowy.

Dwanaście osób wstało i wyszło z pokoju, gdzie pozostali alkald, ja, Bob i dwaj zbiegli. Po upływie dziesięciu minut weszli znowu przysięgli z odkrytemi głowami. Alkald też zdjął czapeczkę swoję.

— Winien!—rzekł starszy przysięgły.

—Bob!—zawołał alkald głośno:— Bob-Rock, czyli jak cię zowią! Współobywatele twoi uznali cię winnym i ja ogłaszam dekret: będziesz powieszonym za szyję, aż póki nie umrzesz! Niech się Bóg nad duszą twoją zlituje.

— Amen!— rzekli wszyscy.

— Dziękuję— szepnął Bob.

— Przed spełnieniem naszego smutnego obowiązku zapieczętujmy pieniądze zabitego— rżekł alkald.

Zawołał murzynkę i kazawszy jéj przynieść świécę sam zapieczętował trzos i papiery, a po nim przyłożyli pieczęcie swoje prokurator i korregidorowie.

— Czy niema ktokolwiek co do zarzucenia przeciw wykonaniu ogłoszonego wyroku? — mówił alkald, rzucając na mnie znaczące wejrzenie.

— Sędziowie i współobywatele! on mnie ocalił życie!—rzekłem wzruszony do głębi — ocalił z prawdziwém poświęceniem!...

Kiedym to mówił, oczy Boba były nieruchome, pierś jego podnosiła się od ciężkiego westchnienia, lecz razem potrząsł przecząco głową.

— Idźmy z Bogiem!— rzekł alkald.

Milcząc wyszliśmy z pokoju i wsiedliśmy na koń. Alkald wziął z sobą Pismo święte i czytał je jadąc, ażeby przygotować Boba do wieczności.— Bob z początku słuchał uważnie, nawet ze skupieniem ducha. Wkrótce jednak zaczął się niecierpliwić, pojechał prędzéj, a w końcu puścił się cwałem tak szybko, żeśmy zaczęli go podejrzewać o chęć ucieczki. Lecz biedak lękał się, ażeby przed śmiercią nie zaskoczyła go gorączka. Po upływie godziny byliśmy już pod patryarchą.

W istocie był to patryarcha, prawdziwy patryarcha roślinnego świata. Czy to uroczysty nastrój ducha, lub też wielkość ostatniéj godziny, która nas do głębi duszy przejęła, nie wiem; lecz na widok drzewa tego wszyscyśmy się zatrzymali jak przed zjawiskiem wyższéj, nadprzyrodzonéj siły. Zdawało się, że duchy świata niewidzialnego szeptały do siebie, i owiały mnie tchnieniem swojém z tego olbrzymiego drzewa, z tego cudu przyrody! Dąb ten wcale nie był do drzewa podobnym! ogromna massa roślinna rozłożysta na kilka set stóp w średnicy wznosiła się przynajmniéj o sto trzydzieści stop w górę; nie podobna było rozróżnić pnia, gałęzi, nawet liści, jaśniały tylko miljony zielonawo białych czareczek z niezliczoną liczbą srebrzystych bród. Te miljony czareczek, te niezliczone srebrzyste brody, patrzały na nas w tak fantastycznych postaciach, że na pierwszy rzut oka, przysiągłbyś, że tysiące patryarchów patrzą na cię ze swoich kryjówek! Co raz niżéj brody te były dłuższe, spadając do ziemi, miały ze czterdzieści stop długości i tak dalece zakrywały sobą pień, że kilku ludzi musiało zsiąść z konia i rozkrywać te gęste brody. Z trudnością nareszcie utorowano nam drogę pod drzewo. Jest to ten sam mech hiszpański, który wszyscy znają, tylko, że ten jest szaro błotnistego koloru, meksykański zaś srebrzysto szarego. Kiedyśmy weszli pod olbrzymie konary tego dębu, nagła ciemność pełna tajemniczości tak nas oślepiła, żeśmy nic nie mogli jakiś czas nie do koła siebie rozróżnić. Promienie słońca łamiące się we mchu srebrzystym, w listkach i brodach przenikały tu, jak przez kolorowe szyby świątyni. Światło padając w najfantastyczniejszych kształtach, w rozmaitych tęczowych kolorach do téj świątyni, oświecało ją tajemniczo. Pień też był cudem przyrody w swoim rodzaju. Wznosząc się o czterdzieści stop od ziemi, do rozgałęzienia się konarów, miał na sobie mnóstwo sęków, które spadały w zęby stopniowo coraz niżéj, a na nich narastały massy srebrzystego mchu, i mszyste brody. Tak byłem zdziwiony olbrzymią wielkością tego zjawiska, żem czas jakiś stał w niemém zachwyceniu, i tylko przytłumiona rozmowa towarzyszów moich, wyrwała mnie z osłupienia. (d. c. n.)

należeć powinien, jeżeli ma błogie wydać owoce. Dla tego też, lubo na posiedzeniu izby poselskiéj w Wiedniu, hrabia Rechberg był zagadnięty o danie objaśnień co do obecnego stanu sprawy duńsko-niemieckiéj, izba z największą wyrozumiałością przyjęła odpowiedź ministra, że niemoze jeszcze wskazać dnia, w którym będzie mu wolno żądane objaśnienie złożyć.

Inaczéj mają się rzeczy z izbą poselską pruską. Ona wybiega w szranki rządowéj polityki zewnętrznéj, głównie zaś objawia wielką drażliwość w tém wszystkiém, co się wprost lub ubocznie do stosunków czysto niemieckich odnosi. Skoro więc Fryderyk VII król duński zamknął oczy, a książę na Augustenburgu odezwał się ze swojemi roszczeniami o spadkobierstwa, wnet posłowie Virchow i Stavenhagen, na dniu 23 listopada, oświadczyli: że cześć i dobro Niemiec wymagają, aby wszystkie rządy najdzielniéj tez prawa poparły. Tymczasem poseł Waldeck z 36 członkami izby, doradzał, aby przez wzgląd na wewnętrzne okoliczności pruskie, izba oświadczyła: że dobro Niemiec i Prus wymaga, aby książę holsztyńsko - sonderbursko - glücksburski, ktory wstąpił na tron duński pod imieniem Chrystjana IX, niebył przez Prusy uznany za panującego w Szlezwigu i Holsztynie.

W takim stanie rzeczy, lubo odczytane na dniu 1 grudnia, przez pana von Bismarck oświadczenie, że rząd zachowuje sobie wolność rozstrzygnienia, czy traktat londyński 8 maja 1852, przez który spadkobierstwo w Danji i księstwach zostało ustalone, ma poczytać za obowiązujący lub upadły, oraz zapowiedzenie, że Prusy porozumiały się z Austrją, co do dalszego biegu téj sprawy, powinny były zaspokoić izbę wszakże po siedmio - godzinnych rozprawach, wniesienie pp. Virchow z Stavenhagen niezmierną większością zostało przyjęte.

Lecz ta uchwała izby pruskiéj ostać się niemoże; bo rząd angielski rozkazał posłom swoim: sir Aleksandrowi Malet, umocowanemu przy sejmie związkowym we Frankfurcie, i sir James Buchananowi, ambasadorowi w Berlinie, jeszcze dnia 23 listopada oznajmić: z jakim żalem dowiedział się o tém, że książę Frederyk na Augustenburgu, wytoczył roszczenia do dziedzictwa księstw Szlezwigu i Holsztynu, oraz że pełnomocnik badeński działający w jego imieniu, wytoczył je na sejm związkowy, który poruczył ich roztrząśnienie komitetowi.

W tym stanie rzeczy, rząd królowéj znajduje być właściwém oznajmić: że nie zejdzie z drogi najsumienniejszego zachowania zobowiązań przyjętych przez traktat 8 maja 1852. Rzeczony traktat nakazuje tak rządowi królowéj, jak i wszystkim innym państwom, które go podpisały, mieć niezłomnie książęcia Chrystjana szlezwizko - sanderbursko - glücksburskiego i jego potomków po mieczu, zrodzonych z małżeństwa z księżniczką Luizą heską, za jedynych prawomocnych dziedziców krajów, znajdujących się wówczas pod berłem królewsko-duńskiém.

Rządy austrjacki i pruski oświadczyły podobnież, na posiedzeniu 28 listopada sejmu związkowego, jak zapatrują się na tę sprawę, i rozkazały podać następną notę:

„Postępowanie cesarsko - austrjackiego i królewsko - pruskiego rządów jest im nakazane przez traktat, razem z Francją, Anglją, Rossją i Szwajcarją w 1852 w Londynie z koroną duńską zawarty w myśl warunków uprzednich, przyjętych w ciągu rokowań toczonych z Danją w latach 1851-52.

„Oba rządy poczytują zbiór tych warunków za nierozdzielną całość sankcjonowaną przez traktat londyński.

„Następstwo przez ten traktat przewidziane ziściło się teraz; oba rządy gotowe są spełnić pomieniony traktat, jeżeli korona duńska ze swéj strony wykona zastrzeżenia uprzednie, których spełnienie Austrja i Prusy przypuszczały, i co właśnie skłoniło je do jego podpisania.

„Spadkobierstwo w księstwie lauenburskiém, według zdania obu rządów, służy królowi Chrystjanowi, nawet w przypadku, gdyby traktat londyński upadł; bo najbliższy dziedzic zmarłego króla Fryderyka, książę Fryderyk heski przeniósł swe prawa na króla Chrystjana.

„Zdaje się przeto, że niemożliwém jest zaprzeczać wstępu na sejm związkowy pełnomocnikowi, mianowanemu przez króla duńskiego, dla przedstawiania na nim księstwa lauenburskiego. Wszakże oba rządy niemogą doradzać przyznania mu prawa głosu, służącego przedstawicielowi Holsztynu i Lauenburga, chyba wówczas, kiedy król Chrystjan ziści obietnice, w nadziei spełnienia których, oba mocarstwa podpisały traktat londyński, będący dla nich dowodem dziedzictwa króla duńskiego w Holsztynie.

„Nakoniec rząd szwedzki w okolniku podpisanym dnia 20 listopada, przez ministra spraw zagranicznych hr. Manderstroem do posłów królestw szwedzkiego i norwezkiego przy wielkich dworach, oświadczył co następuje:

„Telegraf zawiadomił nas wczoraj, że książę na Augustenburgu, w skutek ojcowskiego, przelewu na jego osobę praw, jakie sądził, że sam posiada, ogłosił proklamację oznajmującą, że obejmuje panowanie nad Szlezwigiem i Holsztynem. Spółcześnie uwiadomiono nas, że panujący dzielnic książęco-saskich uznali tego pretendenta, i że wielki książę oldenburski zaprotestował przeciw porządkowi następstępstwa w księstwach.

„Te wszystkie kroki nadwerężają umowę londyńską 8 maja 1852, zawartą w celu upewnienia porządku następstwa w królestwie duńskiém i utrzymania całości i niepodległości rzeczonego królestwa, jako koniecznego dla politycznéj równowagi Europy. Całość monarchji duńskiéj jest ciężko zagrożona, przez zamach oderwania od niéj Holsztynu, będącego najpiękniejszym listkiem téj korony.

„Niemniéj niebezpieczném nastawaniem na niepodległość królestwa duńskiego jest roszczenie panujących niemieckich rozstrzygnienia doli Szlezwiga, który nigdy nie należał ani do ś. Państwa rzymskiego, ani do Związku niemieckiego.

„Nie chodzi już o wykonanie przymusowe, przedsiębrane przez Związek w jednym z krajów należących do tego ciała politycznego, ale o kroki zmierzające do oderwania księstw szlezwizkiego i holsztyńskiego od korony duńskiéj na rzecz jednego z apanażowanych książąt niemieckich. Nie wątpimy, że ten przedmiot pójdzie pod rozbiór sejmu frankfurckiego, który może dać się uwieść do przywłaszczenia sobie prawa rozrządzenia na własną korzyść krajem nienależącym do Niemiec.

„Wśród tych okoliczności, rząd królewski, jako jeden z tych co podpisały traktat londyński, widzi się być upoważnionym prosić mocarstwa, które razem z nim podpisały rzeczoną umowę, aby go uwiadomiły, jakiéj drogi myślą trzymać się w téj mierze. Bo lubo ani na chwilę nie sądzi, aby te mocarstwa chciały zboczyć z toru tak uroczyście przyjętego, znajduje być wszakże rzeczą pożyteczną porozumieć się, co do kierunku i środków, końcem odwrócenia napaści zaborczéj od króla, którego prawa same uznały, a co spełniéby się niemogło, bez zwichnienia równowagi europejskiéj."

Tąk więc, z liczby siedmiu państw, które podpisały traktat 8 maja 1852, pięć oświadczyły się za utrzymaniem księstw szlezwizkiego, holsztyńskiego i lauenburskiego przy Danji.

W przeszłą sobotę dnia 5 grudnia, sejm związkowy miał głosować na przełożenia Austrji i Prus; ciekawość wytężona jest do najwyższego stopnia, jakie postanowienie wypadnie z urny, i czy król duński odsądzony będzie od dziedzictwa posiadanych przezeń księstw?

Dzienniki umieściły urzędowe pisma między hr. Russell i p. Drouyn de Lhuys, przez pośrednictwo lorda Cowley i margrabi de Cadore zamienionych, w rzeczy odmowy królowéj Wiktorji należenia do kongresu. Przyczyny tego postanowienia, przez lorda Russell przedstawione, są tak ważne iprzekonywające, że poczytaliśmy za powinność wszystkie ogłoszone dotąd w téj mierze pisma, podać w Kurjerze; w następnym zaś pogłądzie poczynimy stosowne nad niemi uwagi, tudzież zdamy sprawę ze zdarzeń najświeższych zaszłych na obu półkulach świata.

Włochy.

Neapol, 17 listopada. Ministrowie weszli z następném przedstawieniem do króla Wiktora-Emmanuela:

„N. panie,

Przybycie w. kr. mości do krajów południowych zostało powitane tak jednomyślnemi objawami poświęcenia i miłości, iż wszyscy zrozumieć musieli, że usiłowania wrogów jednoty włoskiéj osłonionéj i bronionéj przez imię waszego majestatu, są już dzisiaj zupełnie daremnemi.

W obec tego stanu rzeczy, ministrowie poczytali za powinność zespolić się ze wspaniałemi natchnieniami serca waszego majestatu względem tych, którzy złudzeni lub oszukani nie dopuścili się krzywd na osobach i własności, lub nie wykroczywszy przeciw prawom wojennym, popełnili wykroczenia czysto polityczne. Odrodzenie ojczyzny i łaskawość w. majestatu, posłużą skuteczniéj niż kary do oświecenia i ukojenia umysłów tych obłąkanych ludzi.

Byłoby również na dobie otoczyć przebaczenie dla niektórych, środkami, mogącemi bez nadwątlenia skutków łaskawości zabezpieczyć porządek ogólny.

Niemniej byłoby na dobie rozciągnąć łaskawość w. majestatu na wykroczenia druku, pochodzące najczęściéj raczéj ze zboczeń umysłu lub z uniesień namiętności, niż z występnych zamiarów. Może też wasz majestat okazać się względnym dla tych, którzy dopuścili się przewinień leśnych, oraz dla uchylających się od zaciągów wojskowych, mianowicie zaś jeżeli ci dobrowolnie stawili się już przed władzami.

Zapał jaki okazały gwardje narodowe i prowincje, pośpieszając zewsząd dla powitania w. majestatu, świadczy że to wojsko obywatelskie nigdy nie zawiedzie swych obowiązków. Godzi się zatem oddać niepamięci uchybienia, jakich niektórzy z nich stali się winnymi.

Ministrowie składając na potwierdzenie królewskie dekret przebaczenia wyżej wskazanych uchybień, są przekonani że ten dekret zostawi w tych krajach niezgasłą pamięć dobrodziejstwa; że dowiedzie przed Europą, jak rząd w kr. mości jest silny, jak niema powodu do żadnéj obawy, i że da nowy dowód, iż łaskawość w. majestatu wśród pokoju dorównywa jego męztwu wśród wojny."

Turyn, 23 listopada. Czytamy w dzienniku Italia: Król wrócił; nadeszła godzina wypowiedzenia w kilku słowach główniejszych wypadków jego tryumfalnéj podróży przez kraje południowe, o których twierdzono, że miota niemi duch wywrótu. Zaprawdę, Włochy nie wątpiły o uczuciach krajów południowych; ale inaczéj rozumiano za granicą. We Francji nadewszystko, gdzie stronnictwo klerykalne liczy zwolenników w obu izbach parlamentu, czyż nie należało się obawiać aby mówcy w nadmiarze gorliwości, przy rozbiorze adresu, nie użyli bezzasadnych, a niezaprzeczonych przez dziennikarstwo nasze pogłosek jako oręża przeciw jednocie. Dziś zamknięto im usta! Bo cóż rzeczywiście powiedzieć w obec téj jednomyślności całego ludu, który z miast i wiosek zbiega się dla uszanowania króla-wybawcy?

Podróż królewska będzie miała prócz tego inne następstwa. Zwróciliśmy już uwagę narodu na znaczenie, w obec teraźniejszych okoliczności, przeglądu siły zbrojnéj morskiéj uzupełniającego przegląd siły lądowéj pod Somma. Powtarzac nie będziemy tego, cośmy dawniéj powiedzieli; ale niech nam wolno będzie wspomnieć o téj amnestji, która rozciągając dobroczynne swe skutki na ludzi, których knowania chciały tron zachwiać, głośno dowodzi, jak serce królewskie niedostępne jest urazie i jak rząd włoski gardzi spiskami potępianemi przez szczere uczucie narodowe.

— Izba poselska włoska roztrząsa umowę handlową, zawartą z Francją. Według depeszy z Turynu z d. 25 listopada, minister handlu oświadczył, że odrzuca wszelkie potwierdzenie obojętne téj umowy, mogące zostawić jaką wątpliwość w umysłach o rzeczywistym pożytku traktatu; że domaga się zupełnego potwierdzenia traktatu, bo wierzy, że jest on pożytecznym dla Włoch, że odpowiada sprawiedliwym oczekiwaniom kraju i godności obu narodów co go podpisały.

Turyn, 26 listopada. Dziennik la Stampa oznajmuje, że list króla włoskiego przyjmujący wezwanie przybycia na kongres, wyprawiony został wczoraj do Paryża.

Francja.

— Paryż, 16 listopada. Dziennik Indépendance belge podaje następne wiadomości:

Powszechność widocznie spodziewa się w izbie prawodawczéj jakiegoś zgorszenia, bo codzień tłumnie ciśnie się do trybun. Nadewszystko płeć piękna przybywa do izby wcześnie i usiłuje świetnością stroju ściągnąć na siebie uwagę posłów, a najrozgłośniejszych między nimi ukazuje sobie z zajęciem.

Dziś po odczytaniu protokołu zaszło zdarzenie dość ważne. Książę de Morny wzbranym głosie uwiadomił izbę, że p. Paradol w Dzienniku umieścił Rozpraw nader żwawe i niesprawiedliwe pismo z powodu wyborów będących przedmiotem rugów. Książę de Morny doniósł, że minister spraw wewnętrznych p. Boudet po przeczytaniu tego pisma przybył do niego z oświadczeniem, że miał zamiar posłać ostrzeżenie Dziennikowi Rozpraw. Ks. de Morny odpowiedział, że wolałby, jeśli mu tak mówić wolno, dać mu ostrzeżenie parlamentarne. Stanęło na tém, że w razie popełnionego, przez który z dzienników ubliżenia izbie, prezes będzie miał moc upomnienia go z krzesła swojego, jak to właśnie czyni teraz upominając Dziennik Rozpraw. Wiadomo, że prawo upoważnia izbę do powołania przed swój sąd pisarzów bądź za niewierne sprawozdanie z posiedzeń, bądź za miotane obelgi. Rzeczone prawo nie jest cofnięte i w razie potrzeby będzie stosowane.

Większość izby, jak to łatwo daje się pojąć, przyjęła to oświadczenie swego prezesa z wielkiém zadowoleniem, widziała w niém bowiem pomnożenie swojéj powagi, a dla dzienników pewien rodzaj większéj swobody.

Jakoż Dziennik Rozpraw, d. 18 listopada, następnie mówi o tém zdarzeniu:

„Będziemy oględnymi w rzeczy, która nas dotknęła wczoraj na posiedzeniu ciała prawodawczego. Jako jawni i wytrwali zwolennicy praw zgromadzeń radnych, skłonniejsi do rozszerzenia raczéj niż do ścieśnienia ich prerogatyw, niemożemy być podejrzanymi o to, abyśmy płocho usiłowali podkopywać powagę, jaką kraj otaczać te zgromadzenia powinien. A lubo źródło powagi niezbędnéj dla zgromadzeń w nich samych istnieć powinno, nigdy przecież nie zaprzeczaliśmy prawu jakie posiadają do bronienia się przeciw napaściom zewnętrznym przekraczającym obręby niepodległości oceny ich działań. Boli nas, iż zdało się żeśmy przekroczyli ten obręb, wówczas gdy powtórzyliśmy tylko mniemanie niejednokrotnie wyrażone przez członków mniejszości. W każdym razie sądzimy, iż na nas mniéj niż na kogokolwiek spadać może podejrzenie, że staramy się uszczuplać swobody obrad parlamentowych."

— Rugi, czyli zawyrokowanie przez izbę prawidłowości wyborów, nieprzestają obudzać żywego zajęcia najukształceńszych warstw społeczności paryzkiéj. Na posiedzenie izby prawodawczéj 17 listopada znowu zebrała się wielka liczba pań z przedmieścia św. Germana; zauważano w trybunach obecność księżny de Morny i małżonki pana Achillesa Fould. Rozpoczęto od zarzutów przeciw wyborowi hrabiego de Chambrun (którego oskarżano, że rozesłał wszystkim wyborcom fotografowany swój wizerunek) i z wielkiém zdziwieniem izby, która czekała zawziętéj walki, ten wybór został potwierdzony. Następnie pan Geoffroy de Villeneuve przedstawił zdanie o wyborze pana Pelletan i nastawał na jego unieważnienie. Oskarżony powstał i zabrał głos w swéj obronie. Oblicze pana Pelletan jest piękne, wyraz twarzy melancholiczny, ale wzrok dziwnie przenikliwy. Wymowa jasna, uroczysta, nieco nauczycielska, odznacza się raczéj przesadą niż prostotą, ale głębokie tchnące z niéj przekonanie do głębi porusza. Mimo to wszystko wybór pana Pelletan został unieważniony. Z tych szczegółów, dostrzegacze bezstronni nabywają przeświadczenia, że życie obywatelskie coraz przeważniéj wchodzi w obyczaje narodu. Kiedy piękniejsza połowa społeczeństwa poczyna zaprzątać się na tém polu spraw krajowych, można z pewnością wyrzec, że ubieganie się o zaszczyt przedstawicielstwa nabędzie znakomitéj doniosłości. W tym nastroju umysłów zasmuci ludzi poważnych niejedna zdrożność; ale to pewna, że dla dobra ogółu jest ona wielce pożądaną; nic bowiem nie zabija tak ducha obywatelskiego, jak obojętność na walki wyborcze. Anglja żyje właśnie tém spółzawodnictwem, od którego nie usuwają się aż do najpóźniejszéj starości jéj wielcy mężowie stanu.

Jeszcze jedno zdarzenie tych rugów, które tak żywo zajmują Paryż. Na posiedzeniu 19 listopada roztrząsano prawność wyboru hrabiego de Lavalette. Urodził się on w Ameryce w mieście Boston. Cesarz podpisał na rzecz jego d. 18 maja bież. roku, w pośród saméj gorączki wyborczéj, list indygenatu. Owoż według prawa, ta łaska cesarska powinna była przejść przez sankcję prawodawczą izby pierwszéj, nimby obdarzony mógł wejść w używanie pełności praw obywatelskich. Sprawozdawca, zapewnie przez uszanowanie woli cesarskiéj, radził izbie potwierdzić wybor hrabiego de Lavalette; p. Marie miał zbijać to wniesienie, ale gdy zły stan zdrowia niepozwolił mu przybyć do izby, wyręczył go pan Picard i przyznać należy, że trudno byłoby roztrząsnąć to pytanie prawne dokładniéj, głębiéj i z większą wzniosłością myśli. Izba wysłuchała z najprzykładniejszą uwagą téj nauki prawa konstytucyjnego, a jednak znakomitą większością przyjęła wniesienie sprawodawcy. Zastanowiwszy się uważnie, p. Picard miał słuszność, ale i izba dobrze postąpiła; bo jeżeli według niego tylko władza prawodawcza ma moc udzielenia tak zwanego wielkiego indygenatu, uczyniła to izba przyjmując hrabiego de Lavalette do swego grona, a razem uszanowała wolę cesarza.

Rugi poruszyły wielkie pytanie: czy rząd ma prawo wpływać na wybory, czy powinien zostawić im zupełną niepodległość? Wypowiedziano w tym względzie wiele prześlicznych rzeczy. P. Thuillier, wice-prezes rady stanu, wystąpił z mową bardzo nauczającą i pełną siły, utrzymując przeciw panu J. Simon, że niepodobna bez wielkiéj szkody dla kraju wyłączyć rządu z ruchu wyborczego. Lecz p. Simon wymówny, pełen zapału, a nawet czułości, okazał, że godność zgromadzeń wyborczych polega jedynie na swobodzie i szczerości wyborów. Obraz przedstawiony przezeń administracji francuzkiéj, potępionéj na to, aby była bezstronną jak sędzia a namiętną jak narzędzie sejmikowe, jaśniał humorem i złośliwością. Potrzeba czytać w Monitorze te mowy, aby przekonać się jak potęga słowa żywotną jest we Francji.

— Odpowiedź ojca ś. na list wzywający go na kongres, nadeszła do Paryża dnia 18 listopada.

— Senat mianował członków komissji do ułożenia projektu adresu. Składa się ona z 5-ciu oddziałów: w pierwszym z nich zasiadają: jeneralny prokurator Dupin i jenerał marg. de Hautpoul; w drugim hrabiowie: Walewski i de Casabianca; w trzecim: p. Delangle i jenerał hrabia de La Rue; w czwartym: pp. Stourm i pierwszy prezes Bonjean; w piątym: pp. piérwszy prezes de Royer i Thouvenel.

Paryż, 20 listopada. Fregata parowa Panama, na któréj wraca do Francji marszałek Forey, oczekiwana jest najdaléj za dni 10 w porcie Saint-Nazaire,

Prusy.

Berlin 19 listopada. Na dzisiejszém posiedzeniu izby poselskiéj po przedstawieniu przez ministrów skarbu i handlu wydanych w przerwie parlamentowéj rozkazów królewskich na roztrząśnienie izby, sejm przystępuje do porządku dziennego, a mianowicie do rozbioru dekretu 1 czerwca o dziennikarstwie.

Na ławie ministrów zasiedli ministrowie: sprawiedliwości, skarbu, spraw wewnętrznych i rolnictwa, tudzież kommissarz rządowy p. Jacobi.

P. Simson, sprawozdawca, wnosi przełożenia znane już czytelnikom „Kuryera" z depeszy telegraficznych i doradza zupełne unieważnienie dekretu 1 czerwca. Następnie mówca przytacza prośbę towarzystwa zawiązanego w celu ocalenia swobody druku; tudzież przychylne zdanie wypowiedziane przez wydziały prawne uniwersytetów w Kiel i w Getyndze, o protestacji zaniesionéj przeciw wymienionemu dekretowi. Izba i kraj zawdzięczają temu towarzystwu otrzymanie zdań tych dwóch uniwersytetow.

Wyżéj wspomniane oświadczenia obu wydziałow prawnych zgadzają się na to, że niezbędność wymagana przez art. 63-ci nie istniała i że sam dekret przeciwny jest konstytucji. Przełożenie sprawozdawcy opiera się na art. 66-m i 106-m konstytucji, z których ostatni odmawia władzom mocy dochodzenia prawności podobnych dekretów, wkłada jednak spółcześnie na izby powinność podwójnie ścisłego rozbioru pod tym względem. Art- 63-ci wypływa z zastrzeżenia konstytucji przypisanéj artykułowi 105-mu, nadającemu moc ogłaszania dekretów w razach naglących.

Tę moc nieokreśloną należało właśnie oznaczyć; izba, podczas przejrzenia konstytucji, niemogła zająć się dostateczném ograniczeniem owego zastrzeżenia, to jest, że nie nastawałem na wszystkie moje przełożenia i gdybym miał wówczas doświadczenie, jakiego nabyłem w ostatnich 14-tu latach, byłbym poszedł nierównie daléj. Przed przejrzeniem konstytucji wydano 18 dekretów; po przejrzeniu wydano ich tylko 5, z których 4 zamieniono w prawo. W jednym przypadku, to jest co do dekretu o dziennikarstwie, niezbędność nie została przyjętą.

Rzeczywiście, w przedmiocie, który nas zajmuje, izby nie były zebrane, ani być mogły w dniu 1 czerwca, bo zamknięto je 27 maja. Dekret podpisany 1 czerwca wszedł w moc obowiązującą tegoż dnia, chociaż ukazał się w zbiorze praw dopiero 3-go czerwca. W ciągu trzech dni, od d. 28 maja do 1 czerwca, dekret niemógł przebiedz wszystkich stopni, przez które przeprowadzić go należało.

Na drugim warunku mogącym usprawiedliwić konstytucyjność dekretu 1 czerwca, to jest na odpowiedzialności ministrów, podobnież mu zbywa, ponieważ według ich zdania skoro rzeczone prawo nie istnieje, ministrowie nie mają innego sędziego na ziemi prócz króla: a więc rząd nie posiada istotnego przymiotu odpowiedzialności.

Ale i trzeci przymiot, broniący, aby dekret nie był sprzecznym z konstytucją, również nie istnieje: bo jest przeciwnym artykułowi 27-mu konstytucji.

Mówca odwołuje się w tym miejscu do zdania wydziału prawnego getyngskiego.

Art. 7, 8, 28 i 86 konstytucji zastrzegają najoczywiściéj, że wykroczenia druku tylko przez sądownictwa mogą być karane, tudzież przez właściwego i niepodległego sędziego. Mówca wraca do warunków koniecznych dla dekretów, a mianowicie, że okoliczności powinny być naglące a zagrożenie bezpieczeństwa oczywiste. Wywód gabinetu nic nie mówi o pierwszym warunku, a przełożenie pomija drugi milczeniem. Okoliczności naglące, w jakich znajdują się ministrowie, stąd wypływają, że niemają większości w izbie poselskiéj; lecz ten stan naglący wkrótce przestanie być nadzwyczajnym. Przekonany jestem że nikt nie uchybił przysiędze, ale niektórzy radzi by wierzyć, że art. 106ty został wytłómaczony w duchu odmówienia obywatelom prawa roztrząsania. Istnienie konstytucji nie zależy od wzrastającéj liczby trudności, przy których zdaje się ministrom, że rządzić nie zdołają. Przyjmijcie mości panowie przełożenie nasze w takiém brzmieniu w jakiém je przedstawiamy.

P. Gneist, drugi sprawozdawca, zrzeka się głosu.

P. Jacobi, kommisarz rządowy, usiłuje nadwątlić powagę zdań wypowiedzianych przez uniwersytety; twierdząc zaś, że podług konstytucji dawne prawa dopóty obowiązują, dopóki ich nowe prawa nie zmienią, wyprowadza stąd, że dekreta mogą być wydawane, a w obec nich zamilknąć powinny dawniejsze ustawy. Odwołuje się do zdarzeń 1851, kiedy przy rozbiorze prawa o dziennikarstwie przytaczano dekreta 1849 i 1850.

Hrabia Eulenburg, minister spraw wewnętrznych, broni rząd od zarzutu, że ogłosiwszy dekret 1-go czerwca we trzy dni póżniéj „w Dzienniku praw" nadał mu działanie wsteczne. Powtarza, co już nieraz ministrowie wyrazili, że przyjdzie czas, w którym większość ludności uzna zasady, jakie popierają za najlepsze. Twierdzi, że polityka gabinetu jest dobrą i gdyby jéj za taką ministrowie nie poczytywali, złożyliby natychmiast swe urzędy.

P. Reichesperger oświadcza, że ze stronnictwem swojém głosować będzie za utrzymaniem dekretu.

Podobnież wyraził się i p. Wagner.

P. Virchow przeciwnie dowodzi, że dekret 1-go czerwca w żaden sposób ostać się nie może.

Hrabia von Wartensleben zbija mowę Virchow i wysławia zbawienny wpływ dekretu 1 czerwca na dziennikarstwo.

P. Carlowitz przemawia za przełożeniem kommisji.

P. Hahn (z Raciborza) nagania sąd trzech uniwersytetow i mówi że syndykowie (prawoznawcy) koronni słuszniéj rzecz ocenili.

Gdy izba postanowiła zamknąć rozprawy, p. Gneist drugi sprawozdawca przedstawił treść wszystkich głosów i zbił zarzuty przeciwników. Następnie przystąpiono do głosowania i wniosek kommisji unieważnienia dekretu 1 czerwca izba przyjęła niezmierną większością 278 głosami przeciw 39-ciu.

DEPESZE TELEGRAFICZNE.

BERLIN, wtorek 1 grudnia wieczorem. Izba poselska roztrząsała dziś wniesienia tyczące się spraw szlezwizko - holsztyńskich.

P. von Bismarck odczytał następne oświadczenie: „Można ubolewać nad tém, że traktat londyński został podpisany; ale wzgląd na cześć i na rozsądek wkładają na nas obowiązek niedozwolenia, aby wynurzyło się jakie powątpiewanie o wierności naszéj dla traktatów. Nalegamy na to, aby Danja spełniła tenże obowiązek.

„Traktat londyński i układy ugodliwe w latach 1851 1852 istnieją lub upadną nierozdzielnie jedne z drugiemi. Gdybyśmy odstąpili od traktatu 1852 r. pozbawilibyśmy Szlezwig podstawy, na któréj ten traktat oparł jego stanowisko.

„Rząd powinien wyłącznie zachować dla siebie moc rozstrzygnienia (po przekonaniu się w sposób niewątpliwy, że sama Danja nie spełniła zaciągniętych zobowiązań), czy powinien oświadczyć, że odtąd poczyta traktat londyński za żaden i nieobowiązujący—tudzież moc wyboru chwili, w któréj wydawać się mu będzie wystąpienie z tém oświadczeniem za właściwe. Nie może, co do tego postanowienia odwoływać się ani do sejmu związkowego, ani roztrząsać go w niniejszéj izbie.

„Weszliśmy z Austrją w układy zapewniające na teraz zgodność postępowania obu państw względem traktatu londyńskiego i jego następstw.

„Co się ściąga do Lauenburga, uważamy króla Chrystjana za prawowitego posiadacza tego księstwa, bez względu nawet zastrzeżeń traktatu londyńskiego. Co do Holsztynu, prawa jego jako panującego, opierają się na traktacie londyńskim i na zastrzeżeniach 1851—1852, których solidarną łączność pojmujemy tak samo jak pan von Bluhme. Dopóki traktat londyński nie straci swéj mocy, pobudki, które spowodowały uchwałę związkową 1 października przymusu zbrojnego, istnieć nie przestaną.

„Uczyniliśmy wspólnie z Austrją przełożenia zmierzające do nadania przymusowi bezpośredniego biegu i przedsięweźmiemy potrzebne środki wojenne; sejm otrzyma projekt do prawa w celu uchwały potrzebnych kredytów w téj mierze."

WIEDEŃ, wtorek 1 grudnia wieczorem. Dziennik Powszechna korres-

ki we Frankfurcie już od tygodnia opatrzony został potrzebną władzą oświadczenia Związkowi gotowości Austrji do wszelkiego spółdziałania jakie wymaganém od niéj zostanie, dla wykonania środków przymusowych zapadłych przeciw Danji.

WIEDEŃ, wtorek 1 grudnia wieczorem. Na dzisiejszém posiedzeniu drugiéj izby rady cesarstwa, p. Zyblikiewicz razem z 24 innymi posłami przedstawili następne wniesienie:

„Izba roztrząśnie, czy dekret ministra sprawiedliwości z d. 19 października 1860, ściągający się do poskramiania zbrodni popełnionych przeciw bezpieczeństwu Rossji, posiada moc obowiązującą; a w razie gdyby prawność dekretu została udowodnioną, izba określi przez szczegółowe zastrzeżenia rodzaj czynności, które mają być poczytywane za zbrodnie popełnione przeciw bezpieczeństwu Rossji i określi przestrzeń kraju, gdzie te czynności powinny być dokonane, aby przybrały to znamię.

LONDYN, środa 2 grudnia. Doniesienia z New-Yorku z d. 21 listopada zapewniają, według wiadomości otrzymanych z d. 19 z Knoxville, że położenie jenerała Burnside jest dobre, chociaż kommunikacja jego z Kumberlandem została przerwana.

Jen. Banks zajął d. 5 listopada miasto Brownsville.

W Matamoras czekają rewolucji na rzecz Francuzów; część wojska jenerała Banks przeznaczona jest na udanie się do tego miasta, dla bezpieczeństwa konsula amerykańskiego.

HAMBURG, środa 2 grudnia. W księstwie Szlezwizkiém ogłoszono urzędowie w imieniu króla Chrystjana wspólną konstytucję duńską d. 18 listopada.

GOTHA, środa 2 grudnia. Gazeta miejscowa zawiera list pana Samver, użytego do kierunku spraw książęcia na Augustenburgu, w którym wzywa pana Hall, aby wojsko duńskie opuściło księztwa Szlezwizkie i Holsztyńskie, żołnierze zaś rodem z tych księstw, którzy znajdują się w królestwie, aby zostali odesłani do księstw. Rzeczony list zapowiada, że jeśli we dwa tygodnie rząd duński nie oświadczy gotowości spełnić to żądanie, rząd książęcia Fryderyka przedsięweźmie potrzebne środki dla utrzymania praw rządu prawowitego.

P. Mohl, pełnomocnik badeński przesłał powyższy list panu von Dirckincks pełnomocnikowi duńskiemu we Frankfurcie, który odesłał go nazad bez rozpieczętowania.

BERLIN, środa 2 grudnia o godz. 7 wieczorem. Izba poselska roztrząsała i dziś sprawę szlezwizko-holsztyńską. Po siedmio-godzinnym rozbiorze przystąpiono do głosowania i przełożenie Virchow-Stavenhagen, przyjęto 231 głosów przeciw 63, po uprzedniém odrzuceniu przełożeń pp. von der Heydt i Waldeck 268 głosami przeciw 37. Polacy wstrzymali się od głosowania.

PARYŻ. czwartek 3 grudnia. Monitor powszechny umieścił sprawozdanie pana Fould, o skarbowém położeniu Francji. Minister przedstawia potrzebę zamiany summy 300 miljonów niedoboru na dług skonsolidowany, co dozwoliłoby zmniejszyć niedobór do 672 miljonów.

Pożyczka 300 miljonów będzie użytą na opłatę bonów skarbowych.

FRANKFURT, czwartek 3 grudnia. Austrja i Prussy trwają w domaganiu się tylko przymusu związkowego w Holsztynie, gdy tymczasem inne rządy przedstawiane w komitecie sejmowym na sprawy księstw, żądają ich osadzenia.

Sejm związkowy odbędzie następne swoje posiedzenie w sobotę.

TRIEST, piątek 4 grudnia. Wiadomości z Aten dochodzą do dnia 28 listopada.

Król wyraził przed deputacją zgromadzenia narodowego smutek z powodu świeżo zapadłéj uchwały w izbie, przeciw ministrom króla Ottona; najjaśniejszy pan ma nadzieję, że zgromadzenie cofnie tę uchwałę.

Mówią, że król niebawem popłynie do Korfu.

Zgromadzenie narodowe rozkazało wszystkich oficerów, którzy okażą się nadliczbowymi, po zapełnieniu miejsc wakujących, wykreślić z wojska czynnego.

Donoszą z Konstantynopola, że sułtan w razie zebrania się kongresu, uda się osobiście do Paryża.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— UROCZYSTOŚĆ OPIEKI N. P. MARJI.—W połowie listopada, jest pobożny zwyczaj w Wilnie, obchodzić przed słynącym łaskami obrazem Najśw. Marji Panny Ostrobramskiéj, święto jéj niebieskiéj Opieki. Piękny a wzniosły ten zwyczaj gromadnéj modlitwy dorocznéj pod otwartém niebem ulicy, przywodzący na pamięć dawno już gdzie indziéj pozapominane nabożeństwa w polu i msze na pniu ściętego dębu przez krzewicielów chrześcjaństwa odprawiane, datuje u nas od bardzo dawnych czasów i aż do dziś dnia przechował się w nienaruszonéj całości. Po wielu latach stałego święcenia uroczystości, nie dziw, że w Wilnie zawczasu przed drugą niedzielą listopada już się gotować poczynają na litanje, a potém rozpamiętywają o nich pobożni. Po wystawném nabożeństwie Bożego Ciała, jestto w kościele katolickim w Wilnie najwspanialsza religijna uroczystość.

Tygodniowe nabożeństwo Opieki Najświętszéj Marji Panny rozpoczyna się od nieszporów w sobotę poprzedzającą drugą niedzielę listopada w kościele św. Teressy i w kaplicy Matki Boskiéj nad bramą, przed którą potém odprawiają się śpiewane pospołu z ludem litanje. Kościoł,— który niedawno teraźniejszy jego proboszcz, ks. kanonik Kazimierz Zaleski, staraniem swojém dał z gruntu wyporządzić, odnawiając freski, obrazy i sztukaterje, kosztownie przebudowując organy tutaj i w kaplicy, zastępując drewniane ozdoby wystawy ciosanemi z kamienia, urządzając dla dogodności pobożnych wzdłuż obok świątyni trotuar z kutego granitu, wreszcie pokrywając całą świątynię blachą,—wspaniale się pod tę porę oświeca. Ale nadewszystko uroczy widok przedstawia tuż przy samym kościele wzniesiona kaplica Ostrobramska, wśród ciemności nocy wiszącéj nad miastem, cała oblana światłem illuminacji. Wystawa jéj usiana gwiazdami płonących lamp i zakończona również jaśniejącym krzyżem, daleko daleko wówczas widzieć się daje po nad szczytami miejskich budowli.

Ulica Ostrobramska o zmroku, gdy jedna tylko lampa bladém światełkiem migoce przed wizerunkiem Królowéj niebios, widzi zwykle tylko pojedyńczo modlące się osoby, w głębokiéj wierze szukające tu pociechy i opieki. Lecz podczas téj dorocznéj uroczystości, tysiączny tłum zalega całą przestrzeń, z któréj dojrzeć można litościwe oblicze Matki Miłosierdzia w obrazie; tysiączne piersi i usta dzielą z kapłanem modlitwę. Muzyka do Litanji o Najśw. Pannie Marji, ułożona przez znakomitego kompozytora wielu dzieł religijnych, Stanisława Moniuszkę, zastępuje teraz dawną, poważną, ale mniéj do wykształconego ucha trafiającą nótę. Pełne uczucia, prostoty i głębokiego namaszczenia tony, rozlegają się w ciszy wieczornéj i płyną aż przed tron Najwyższego.

Tak się powtarza rok rocznie, codzień od drugiéj aż do trzeciéj niedzieli listopada, przez całą oktawę. Tak samo było i w roku teraźniejszym.

— KOLEJ ODESSKO - PARKAŃSKA.— Dnia 1 bież. listopada, przeszła po raz pierwszy lokomotywa na odessko-parkańskiéj kolei żelaznéj od baszty kwarantanny do wnętrza obwodu kwarantanny w Odessie. Dnia następnego lokomotywa miała przebiedz przestrzeń wzdłuż brzegu od bulwaru nadmorskiego do chersońskiéj przystani.

— Z PODOLA donoszą, iż panuje tam pomorek bydła; klęska ogromna, a końca jéj niewidać. Zarobki i furmanki, co w pewnym względzie stanowi jedyny poboczny zasiłek wieśniaka po za obrębem rolnictwa, w tym roku niemal nic nieprzyniosły. Przedsięwzięć obszernych fabrycznych niebyło; a furmanka, któréj zboże do przewozu potrzebowało, nierusza z domu, bo operacje ze zbożem nader są liche. Koszta produkcji zboża wzrosły, urodzaj na Podolu był niższym od średniego, a nawet w wielu miejscowościach lichy: tymczasem ceny stoją tak nizko, że prawie sprzedaży zarządzić niemożna bez straty. Pszenica płaci się po 7 rub. za beczkę; jakże tu ją dostarczyć zwłaszcza na odleglejsze rynki?

— STOWARZYSZENIE Ś-GO JOZEFA Z ARYMATEI,— założone we Lwowie w roku 1859 pod protektoratem jego ekscellencji ks. arcybiskupa Er. Wierzchlejskiego, a mające na celu grzebanie ubogich chrześcijan, liczy według ogłoszonego za r. 1863 sprawozdania, 200 członków (w roku 1862 było ich 266), a miało dochodu 853 zł. w gotowiźnie, i 720 zł. w papierach publicznych, a wydatków 583 zł. w gotowiźnie i 200 zł. w papierach. Główny dochód składał się z ofiar od członków rzeczywistych, w summie 409 zł, a wydatki przeznaczone były na sprawienie trumien i innych rekwizytów pogrzebowych, na co wydano 481 zł.— Kosztem stowarzyszenia pogrzebano w roku 1863, 252 umarłych, a mianowicie 117 płci mężkiéj i 135 płci żeńskiéj, po większéj części ze szpitala powszechnego (87) i ze szpitala siostr miłosierdzia (69). (G. W.)

— MAUZOLEUM, czyli kaplica dla zwłok ś. p. jenerała Dąbrowskiego, wzniesiona obok kościoła parafjalnego w Winnéj-górze, wsi leżącéj pod samym Miłosławiem, darowanéj niegdyś jenerałowi za zasługi i należącéj dziś jeszcze do Bronisława Dąbrowskiego, syna tego wojownika— jest już prawie na ukończeniu. Kaplica ta jest w stylu gotyckim, formy sześciennéj. Ściana przytykająca do kościoła parafjalnego mieści wchód z tejże świątyni prowadzący. Naprzeciw mieści się sarkofag marmurowy, z zwłokami nieboszczyka. Nad nim w oknie gotyckiém, herb Dąbrowskich. W niszach dwu ostatnich ścian są: w jednéj ołtarz M. Boskiéj, a w drugiéj przeciwległéj na podstawie, marmurowa urna z sercem jenerała, które krótko przed swym skonem polecił w Winnéj-górze pozostawić, na przypadek gdyby zwłoki jego gdzieindziéj przeniesione być miały.

SALOMON RYSIŃSKI.

(Dokończenie Ob. N. 133).

Tymczasem z innéj strony, rozmaite dane pozwalają nam z zupełném prawdopodobieństwem wnioskować, iż Salomon Rysiński żywot swój od młodu spędził na Litwie. Uciekamy się tu znowu do jego „Przypowieści.“ Jeżeli usuniemy z nich rzeczy książkowe i noszące na sobie charakter dworski, to postrzeżemy, iż większa część przysłów właściwych zamieszczonych w jego dziele, żyje dotąd w ustach nadniemeńskiego ludu, w mowie białoruskiéj. Co większa, znaczna jest w książce liczba przysłów, które w dalszych okolicach są nieznane, jak np.: I koń nad siły nieskoczy,—Jeden za ośmnaście, a drugi za dwadzieścia bez dwu,—Dzięcię niepłacze, matka niewié czego potrzebuje,— Dawszy rękoma, biegaj nogoma,— Baba z wozu kołom lżéj,—Bogaty się dziwi, czém się chudzina żywi, — Wczorajszego dnia szuka i t. p. Że te przysłowia weszły do książki Rysińskiego drogą przerabiania z mowy tutejszego ludu, na to mamy w samém dziele dowody. Jedne z nich stają się zupełnie jasnemi dopiéro przez porównanie z oryginałem; tak np. „Ni siadło, ni padło,“ brzmi u ludu dosłownie: „Ni siadło, ni padło, podaj babo sadło,“ a wyszydza nieuzasadnione domaganie się czegokolwiek. Inne odnoszą się do okoliczności miejscowych, jak np.: „Swięty to grosz, co kopy (60-ciu groszy) strzeże,—Jednemu pop się podoba, a drugiemu popadja,—Kto dał to dał, a Gasztołd wziął, — Kwapi się by popówna za mąż.“ Niektóre wreszcie dla rymu lub z powodu trudności przetłómaczenia, zachowały nawet wyrazy białoruskie; np. „Nie w czas dają chleba husto (sowicie) kiedy zębów w gębie pusto,—Harkawemu rzeczy dostaje,“ to jest: źle wymawiającemu głoskę R nakształt Ł, starczy mowy. Inne nieznajome ludowi tutejszemu przysłowia, a zwłaszcza historyczne i do pewnych miejscowości przywiązane, łatwo się dały zebrać po dworach, gdy stosunki szlachty mieszkającéj po najodleglejszych okolicach były bardzo blizkie i częste.

Okazuje się tym sposobem, jak sądzimy, dowodnie, że Rysiński przez czas długi mieszkał na Litwie; ale zachodzi kwestja, gdzie mianowicie przebywał? Z epoki jego życia przed r. 1614 śladów widocznych tego niemamy. Lecz skoro zważymy, iż Rysiński niebył duchownym; skoro ujrzymy, jak na to są poniżéj dowody, iż niemiał swojéj lipy jak Jan Czarnolaski; skoro nareszcie będziemy mieli na oku, iż podówczas nieznano honorarjów, lecz przeciwnie autorowie dopłacali księgarzom za drukowanie dzieł swoich: to za niezawodne uznać przychodzi, iż pozostawało mu do wyboru tylko orędownictwo możnych, jeżeli chciał rzemiosłu literackiemu żywot poświęcić. Zgodziwszy się zaś na to, już naturalną koleją staje otworem dla zdolnego kalwina Rysińskiego dwór radziwiłłowski, gdzie wszystko odznaczające się zdolnościami,a sprzyjające reformie religijnéj, uprzejme podówczas znajdowało przyjęcie. Późniejsze oczywiste fakta z jego życia, jak najmocniéj popierają ten wniosek. W r. 1614 Rysiński dedykuje swoje „Niektóre psalmy“ Krzysztofowi Radziwiłłowi hetmanowi polnemu lit., a w poświęceniu tém wynurza. mu wdzięczność za opiekę. Około tegoż czasu pisze i wydaje swoje „Pomniki,“ których osnową jest wspomnienie świetnych przewag domu radziwiłłowskiego i jego klientów. W r. 1618, snadź z dworem hetmańskim, był Rysiński w Wilnie, bo z tego miasta pod dniem 30 października pisał dedykację swoich „Przypowieści“ (Vilnae, propridie Cal. Nov.) W r. 1620 widzimy go w okolicach nadniemeńskich, bo Krośniewicz piszący z Wilna do Nieświeża, mówi o nim, jako o zostającym w blizkich relacjach z książęciem hetmanem, i daje znać o naturze tych relacij, gdy powiada: „racz wasza książęca mość onego użyć, aby to jak należy wypracował.“ Z listu Naborowskiego pod datą 1625 widzimy, iż w tych dobrach radziwiłłowskich, gdzie umarł Rysiński, nie wszystkie jego rzeczy znajdowały się przy nim. Wreszcie tenże list powiada, iż testament zmarłego był złożony „u pana Wolana;“ a ten Wolan był nie kto inny, jak jeden z synów sławnego Andrzeja, zamieszkały zapewnie w dobrach dziedzicznych Bijuciszki w Oszmiańskiém i także do klientów radziwiłłowskich należący *). Z tego wszystkiego widoczna, iż przynajmniéj od r. 1614 aż do śmierci, Rysiński wciąż zostawał nieopodal Krzysztofa Radziwiłła; że zaglądając niekiedy do Wilna, jako tutejszego ogniska reformy, zresztą pędził na starość żywot koczowniczy, przejeżdżając z jednych dóbr książęcych do drugich w charakterze „panem bene merentibus“ posiadającego rezydenta. Ten ostatni sposób życia Rysińskiego, troskliwe donoszenie książęciu Krzysztofowi o najdrobniejszych szczegółach jego choroby, a wreszcie cześć, jaką mu po śmierci hetman polny zalecił wyrządzić, wskazuje, iż stosunki ich były o wiele starsze, aniżeli wykryte fakta podają. Nietaimy przed sobą, iż tego wszystkiego za mało, ażeby w umyśle czytelnika utworzyć dokładny obraz żywota męża, co ma prawo do jego pamięci. Zrobiliśmy jednak co mogli.

Pisma współczesne, które obok rzeczy drukowanych posłużyły nam do zarysowania powyższego ustępu, ściągają się właściwie do ostatnich chwil ziemskiéj pielgrzymki Rysińskiego. Przenoszą nas one nad bolesne łoże jego śmierci, do niewielkiego nadniemeńskiego miasteczka Dolatycz, leżącego w owoczesném województwie nowogródzkiém o lekką milę od Lubcza. Treść ich prosta a wzruszająca zniewala nas do podania tych dokumentów w całości.

Piérwszy co do kolei czasu jest list Danjela Naborowskiego, pisany na dwa dni przed Rysińskiego zgonem. Ten Naborowski był jednym z gorliwych stronników reformy, zamożnym właścicielem obszernéj kamienicy w Wilnie i folwarku Kiejdzie pod Wilnem, członkiem poselstwa do Anglji, gdzie pisał śliczne wiersze na piękne oczy królowéj Elżbiety, a zarazem był dworzaninem radziwiłłowskim, co samo z siebie jest ciekawém i rzuca światło na charakter owych zapomnianych dziś stosunków szlachty z możnowładcami. Owóż taki; „bene natus et possesionatus,“ poeta i dworak, w liście do księcia Krzysztofa, z dóbr jego Dolatycz datowanym 16 listopada 1625, odzywa się następującemi słowy:—„O panu Rysińskim w ks. m. oznajmuję, iż dnia onegdajszego czwartkowego, 13 nowembra w wieczór,u stołu w swéj izbie siedząc, poczęła mu głowa mylić, że wziąwszy kieliszek, począł go palić przy świécy. Potém położywszy się, mowę zamknął, i ręce począł wyciągać, jakoby się umywał. W godzinę zaś, jakoby o ósméj na półzegarzu, przypadła apopleksja ciężka, oraz-że ryknął, jakoby mu co z głowy spadło, a w tém zaraz i konwulsja epileptyczna ciężka. Zawołałem zaraz pana Dawida i księdza Romanowskiego, rozumiejąc go być w agonji, i czyniło się wszystko według powinności. Lecz konwulsje epileptyczne tak moc wzięły, że nim pół nocy minęło, miał blizko 40 paroksyzmów ciężkich i strasznych, i już prawie agonjował. Zaczém złożyliśmy go na słomę, czekając, żeby panu Bogu ducha oddał w oném swojém męczeniu; jednak przetrwał aż nazajutrz. Zaczém księżna jéj mość wiedząc o tém, kazała go znowu na łóżko włożyć i nakrywszy dobrze, polewkami napawać, co się czyniło; lecz za każdą razą, kiedy mu się co w gębę wlało, paroksyzm ciężki przypadał, który tak go wyciągał, że aż słyszeć było kiedy kości trzeszczały; tych dotąd już było 60. Zgoła wszystkie cechy agonji aż do tego czasu. Oczy tylko trochę jeszcze wesołe, ze których jednak często łzy idą; i kiedy się przy nim psalmy śpiewają i napominania czynią, źrzać, iż zrozumiewa i chciałby co przerzec, ale niemoże. Czasem westchnie, a w gorącu srogiém leży, piersiami ustawicznie od tamtego czasu robiąc, a skończyć dotąd niemoże. Pan Bóg sam niech nad nim się zmiłuje; jakoż czekamy co godzina wyroku Pańskiego nad nim. Apopleksja z epilepsją złączona: już był wszystek zdrętwiał, a po tém rozegrzaniu rozkisł się jak masło, funkcje wszystkie z przerwaniem naprężenia ustały....“

Smutny to zaprawdę i serce rozdzierający obraz; lecz niemogliśmy oszczędzić czytelnikowi boleśnego wrażenia ze względu na ważność tego listu. Dokument ten dowodzi, że Rysiński musiał być w wielkiém zachowaniu u Krzysztofa Radziwiłła, kiedy za potrzebne uważano tak szczegółowo pisać do przemożnego magnata i wysokiego dostojnika rzeczypospolitéj, o człowieku, co ani mieniem, ani świetnemi godnościami niesłynął. Pod względem obyczajowym znajdujemy tu rys ciekawy: chorego kładziono na ziemi w przekonaniu, iż to mu ulży i przyśpieszy skonanie. Pomiędzy ludem prostym w okolicach nadniemeńskich ten przesąd uchował się dotychczas w całości; a podówczas, jak widzimy, był nieobcy najświatlejszym nawet głowom. Wreszcie, i to najważniejsza, piękny tu jest obraz głębokiéj wiary Rysińskiego, któréj nieuczcić z głębi serca niemożna, chociaż jego przekonań religijnych niepodzielamy. Z pism i czynów publicznych owego czasu, reforma dla nieuprzedzonego nawet umysłu nienazbyt zaletnie się przedstawia. Widzimy tłumne a hałaśliwe zjazdy, przedsięwzięte z zamiarem porozumienia, a kończące się na poswarkach; widzimy zapalczywe chodzenie w zapasy z katolicyzmem po książkach, a obok tego haniebne ucieczki z placu, gdy na żywe słowo dysputy wyzywano; widzimy wreszcie, jak dla służebnych korzyści obóz różnowierczy coraz więcéj liczy zbiegów, aż wreszcie mało kto na Litwie pozostaje wiernym swéj religijnéj chorągwi. Tu przeciwnie, mamy przed oczyma jednego z wyznawców ewangelickiego kościoła, w chwili najuroczystszéj, a widzimy go jak staje przed Bogiem „zalany łzami a z okiem wesołém!“ Pod zimnym a twardym pancerzem, do zewnętrznych stosunków przywdzianym, miały więc i tutaj siedlisko górne uczucia, które gdzie indziéj szepcących modlitwę na stos prowadziły...

Wspomniony w powyższym liście Naborowskiego pan Dawid, był to lekarz wileński, Francuz rodem, ale całkiem stutejszały, Detéleues. Pismo tego ostatniego do Krzysztofa Radziwiłła pod datą 22 listopada 1625, donosi o śmierci Rysińskiego w następujących wyrazach: „O panu Rysińskim oznajmuję, że się dekretowi boskiemu nad nim dosyć stało. Albowiem we czwartek piérwszy po świętym Marcinie (t. j. 13 listopada), po południu, przy stole siedzącego paraliż zaraził i mowę mu odjął; potém w nocy miał kaduk ciężki ze 40 razy. Pamięci jednak niestracił i baczenia, bo się to pokazywało z giestów jego, które on ukazował na napominanie księdza Romanowskiego, zezwalając na jego utwierdzenie w wierze i nadziei, o artykulech rożnych. Polewki i wody rozmaite pił, aż już w niedzielny wieczór więcéj połykać niemógł, a przecię kaduk miewał, choć nie tak ciężko i nie tak gęsto, aż do saméj śmierci. A z poniedziałku na wtorek na świtaniu, o 6-éj godzinie, przy panu Naborowskim i przy księdzu Romanowskim modlitwy odprawującym, i przy inszéj młodzi, cichusieńko w Panu zasnął po rozstękaniu ciężkiém.“

Otoczony tedy przyjaznemi osobami, wśród pociech religijnych i pragnień sprawienia mu ulgi, „zasnął cichusieńko w Panu“ Salomon Rysiński w Dolatyczach dnia 18 listopada 1625 roku. Podawana dotąd w dziejach literatury na wiarę zwichniętego podania Węgierskiego („obiit 14 Maj. Decemb. 1626“), data jego śmierci jest mylna.

Ciekawą i charakteryzującą swój czas jest wiadomość o rzeczach, które miał przy sobie w Dolatyczach Rysiński. Wspomniony wyżéj Naborowski, w liście do Radziwiłła, takie o tém podaje szczegóły: „Rzeczy jego przy inszych swoich kolegach popieczętowałem, których tu z sobą niewiele miał, tylko dwie skrzynki, i sam wszystkiego tego inwentarz uczyniwszy, tamże w skrzyni snadź chował. Ja niczego nietykałem się, ale wszystko pochował. Pieniędzy było w chustę zawitych czerwonych złotych 80; monety, któréj snadź 200 złotych, kilką dni posłał mu był przez żyda pan Barszczykowski, nieruszono, ale tak zachowaną z workami w skrzyni, zapieczętowałem. To, co jéj wydał sam nieboszczyk, płacąc panu Winholdowi za korzenie, o tém czeladnik wié. Koni jest cztery, szabla oprawna, czarka, kubek, łyżka srebrna i inne drobiażdżki, z których i szpilka nieposzła na stronę. Teraz potrzeba łaski w. ks. mości i informacji strony pogrzebu jego; bom umyślił, ciało w trumnę włożywszy, w kościele w Dolatyczach postawić, aż do nauki w. ks. mości. Testament u pana Wolana.“

Krzysztof Radziwiłł, jak widać z późniejszego rozporządzenia, polecił złożyć zwłoki Rysińskiego w Lubczu, gdzie za życia dzieła jego były drukowane, a może i sam przemieszkiwał. Wkrótce po pogrzebie, książę w rozkazie danym Stryszce urzędnikowi swojemu w Lubczu, zalecił: „Nad grobem pana Rysińskiego kazać słup murowany wywieść wysoki i chędogi, i tablicę marmurową weń wprawić, a z dołu koło tego słupa kurhan chędogi usypać.“ Nieulega najmniejszéj wątpliwości, iż ów „słup wysoki i chędogi“ był wyprowadzony nad sierocą mogiłą poety, i „kurhan chędogi“ usypany. Dziś jednak próżnobyś szukał tego w Lubczu: wątła karta przeżyła budowę z kamieni i teraz daje o niéj świadectwo. Wszelkie pamiątki protestantyzmu tak dalece gorliwie tu wypleniano, że ślad najmniejszy drukarni, szkoły, zboru, a nawet cmentarza ewangelickiego niepozostał w Lubczu. Nad miasteczkiem zapanowała ciemnota, i pamięć do grobów przytulona oniemiała...

*) „Pokornie proszę, abyś W. M. potomstwu mojemu miłościwym panem być raczył,“ pisze Andrzej Wolan do Janusza Radziwiłła niedługo przed swoim zgonem, w r. 1609. (Pisma hist. Balińskiego, III, 130).

KURSA GIEŁDOWE.

PETERSBURG, 22 listopada (4 grudnia).

Sześcioprocentowe ross. srebr.	107%.
Pięcioprocentowe 1-éj pożyczki	„
„ 2-éj „	„
„ 3-éj „	„
„ 4-éj „	„
„ 5-éj „	90, 91.
„ 6-éj „	91.
„ 7-éj „	97 1/4, 97.
Czteroprocentowe 1-éj, 2-éj, 3-éj i 4-éj poż.	88.
„ 5-éj poż.	88.
Pięcioproc. bilety banku państwa.	95 1/8, 5/8, 1/2, 1/4.
Akcje Głównego Tow. kolei żelaz.	110 1/2.
Obligacje 4 1/2 proc. tegoż. Tow.	85.
Akcje ryzko-dynab. kolei żelaz.	92.
Weksle (na 3 mies.): na Londyn	33 1/2, 13/16.
— — na Amsterdam	„ c.
— — na Hamburg	29 9/16, 3/4 sz. b.
— — na Paryż	350, 352 c.

WARSZAWA, 4 grudnia (22 listopada.)

Listy zastawne oprócz kuponu	13 r. 78 1/6 k.		
Obligi skarbowe — — —	79—	80	—
Akcje Główn. Tow. kolei żel. (żąd.)	„—	„	—
Akcje spółki żeglugi parowéj	„—	„	—
Obligacje tejże spółki	„—	„	—
Akcje drogi żel. warsz.-bydgoskiéj	78—	„	—
— — warsz.-wiedeńskiéj.	68—	„	—
Weksle: na Berlin (2 mies.) za 100 tal.	105—	60	—
— na Hamburg (2 m.) za 300 m.	159—	30	—
— na Paryż (2 mies.) za 300 fr.	85—	50	—
— na Wiedeń (2 mies.) za 150 złr.	86—	40	—
— na Londyn (2 mies.) za 1 fst.	7—	10	—
— na Petersburg (1 m.) za 100 r.	„—	„	—
— na Moskwę (1 mies.) za 100 r.	„—	„	—

BERLIN, 3 grudnia (21 listopada).

Rossyjskie 5-procentowe 5-éj poż.	81 1/2 %.
— — 6-éj poż.	90 1/2.
Polskie obligacje skarbowe oprócz kup.	70.
— listy zastawne	78.
— bilety banku polsk.	87 1/2.
Weksle: na Petersburg (3 tyg.) za 100 r.	95 t.
— na Warszawę (krótki term.) za 90 r.	86 tal.

HAMBURG, 3 grudnia (21 listopada).

Rossyjskie 5-proc. 5-éj pożyczki.	77 3/4 %.
— — 6-éj pożyczki	87 3/2 %.
— — 7-éj pożyczki	84 % b.
Weksle na Petersburg (3 mies.) za 1 r.	29 3/8 sz. b.

Disconto zniżyło się do 5%.

AMSTERDAM, 2 grudnia (20 listopada).

Rossyjskie pięcioproc. 5-éj pożyczki.	76 1/2 %.
— — 6-éj p.	85 1/2 c.
Weksle na Petersburg (3 mies.) za 1 r.	„ c.

LONDYN, 2 grudnia (20 listopada).

3-procentowe ang. konsolidy.	90 1/2 %.
Rossyjskie 5-proc. 2-éj poż.	90.
— — 7-éj poż.	87.
Weksle na Petersburg (3 mies.)	33 3/4, 1/2 p.

Disconto bank podniósł do 7%.

PARYŻ 3 grudnia (21 listopada).

Renta 3-proc.	66, 95%.
Akcje kredytu ruchomego.	1035.
Akcje Główn. Tow. kol. żel.	407 1/2.
Weksle na Petersburg za 1 r. (3 m.)	„ c.

Дозволено Цензурою. 25 Ноября 1863 г. Вильно.

W Drukarni A. H. Kirkora.